

В. КОРМИЛИЦЫН



**РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ**



16+

Валерий Кормилицын

Разомкнутый круг

«Автор»

2011

Кормилицын В. А.

Разомкнутый круг / В. А. Кормилицын — «Автор», 2011

Исторический роман рассказывает о судьбах дворян Рубановых, смысл жизни которых - защита России. Стране приходилось в то время часто воевать, и воинский мундир пользовался в обществе огромным уважением. Повествование охватывает первую треть девятнадцатого века. Война с Наполеоном, восстание декабристов... Всё пережили герои книги, через все испытания пронесся любовь к родине. Жизнеописание вымышленных героев переплетается в романе с судьбами реальных исторических деятелей: Александра Первого, Аракчеева, Бенкендорфа. Роман не является научной книгой. Это попытка воссоздать дух того времени, показать романтизм минувшей эпохи. Незабвенный Александр Суворов как-то воскликнул: "Боже! Какое счастье, что я русский!.." Россия вновь возродится и расцветёт лишь тогда, когда вслед за Суворовым и с таким же восторгом мы повторим его слова!

© Кормилицын В. А., 2011

© Автор, 2011

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	101
-----------------------------------	-----

Ветшающий барский дом, окруженный огромными акациями, приткнулся на самом краю поросшего лебедой и лопухом яра.

Несколькими ярусами гора опускалась к Волге и заканчивалась уютным заливом, затененным густой листвой на корявых ветвях акаций и плакучих ив.

Небольшая круглая беседка из камня, увитая плющом с одной стороны, другим боком, зеленым от мха, лениво плескалась в теплых водах сонной реки. Узкая каменная лестница с коваными металлическими перилами начиналась недалеко от беседки и вела наверх.

Голубоглазый обнаженный мальчик вышел из беседки и сел на примятую траву, опустив ноги в воду и шевеля от удовольствия пальцами, стал наблюдать, как течение перекатывалось через них и медленно несло то травинку, то мелкие водоросли.

Солнце палило нещадно, лишь изредка прячась за редкие облака. Тело маленького барчука стало смуглым от загара, его аккуратный курносый нос облупился, а пшеничные волосы выгорели чуть не до седины. Глянув на другой, тоже крутой берег, он вырвал травинку, пожевав, выплюнул ее и понюхал пальцы, терпко пахнувшие пряной горечью. Затем пружинисто поднялся и быстро, без разбега, плюхнулся в реку. Загорелые ягодицы, мелькнув, скрылись под водой. На миг его не стало видно.

Несколько полноватая молодая женщина в длинной белой рубахе поставила на блюде недопитую чашку чая и, привстав на колени, стала разглядывать гладкую поверхность реки из-под ладони. Мгновенно волнение отразилось в ее прищуренных светло-серых глазах. Припухшие от жары и чая полные губы приоткрылись, и нежный горячий язычок, несколько раз облизнув их, исчез за ровными белыми зубами с небольшой щербинкой сверху.

– Следите, чтоб дите не утонуло! – строго сказала она чистым звонким голосом двум бородатым мужикам-рыболовам, ходившим с бредешком вдоль берега.

– Смотрим, барыня! – пялился молодой рыбак на белые колени, показавшиеся из-под задравшейся рубахи.

Через полминуты светлая головка мальчугана появилась над водой.

– Максимка, сынок, к берегу плыви! – женщина облегченно перевела дыхание, и ласковая улыбка заиграла на ее чистом, без морщин, лице, проявив две ямочки по краям рта. – Акулька! Еще чаю налей, – велела она черноволосой девчонке, тоже одетой лишь в белую рубаху.

– Слушаюсь, барыня, – отвела озорные глаза от могучего торса одного из рыболовов дворовая девка.

– Сынок, иди чайку попей, – расслабленно села на покрывало женщина и стала томно обмахиваться рукой.

Большой цветастый зонт давал тень лишь своей длинной ручке, воткнутой в землю. Солнце стояло в зените: «Искупаться, что ли, и идти отдыхать», – подумала помещица, тяжело поднимая свое крепкое ладное тело и медленно заходя в реку. Ее сын самозабвенно плескался и веселился, ни на кого не обращая внимания.

– Ух! – воскликнула его мать, окунаясь по самые плечи и придерживая руками полные, крепкие груди. – Пойди тоже окунись, – пожалела стоявшую на берегу девку.

Та, радостно скинув рубашку, с визгом помчалась в воду, привлекая внимание понравившегося рыболова. Ее маленькие грудки с темными сосками подпрыгивали в такт движениям.

– Бесстыдница! – беззлобно пожурила ее барыня, обрызгав водой. Смеющиеся глаза служанки ловили взгляд мужчины, но он не отрывался от белеющего сквозь намокшую ткань тела своей госпожи. Напрягшиеся плечи его и руки мощно рассекали поток воды и уверенно тащили корявую и скользкую палку бредня. Рельефная шея гордо держала красивую голову.

Достаточно остыв, барыня медленно стала выходить, прощупывая ногой дно, чтобы не дай бог случайно не ступить на ракушку. На берегу, приказав мужикам отвернуться, с трудом стянула через голову прилипшую к телу рубашку и велела девке растереть себя полотенцем.

Ее сын прыгал рядом на одной ноге, склонив голову набок и закрыв ухо ладонью. Парнишку пока еще не интересовали раздетые женщины. Молодой рыбак осмелился обернуться и замер в восхищении. Барыня стояла лицом к нему расставив ноги и расчесывала гребнем густые светлые волосы, закрыв глаза и горделиво вздернув носик, усыпанный веснушками.

Служанка насухо вытирала ее ягодицы. Одна полная грудь барыни была скрыта волной волос; другая – медленно колыхалась в такт движениям дворовой девки, дразня рыбака розовым крупным соском, окаймленным таким же по цвету ореолом. Оторвав глаза от барыни, он заметил присевшую на корточки служанку. Но девчонка его не интересовала. Он опять с жадностью стал разглядывать свою госпожу, стараясь запомнить ее на всю жизнь, как несбывшуюся мечту.

– Данила! – привел его в чувство бородатый товарищ, дернув на своей стороне бредень. – Заснул, что ли, черт окаянный, или розог захотел?

Барыня закончила причесываться и велела подать сухую рубашку, затем, взяв уже одетого сына за руку, повела его к лестнице. Поднявшись наконец вверх, на гору, она отпустила Максима и вытерла потный лоб, безразлично оглядев пыльную колею дороги, поросшую по краям бурьяном и упирающуюся в широкие ворота с вечно распахнутой створой – другая пропала в незапамятные времена, и кирпичной аркой с двумя выбитыми цифрами – единицей и семеркой. Через промежуток в две отвалившиеся цифры виднелась полустертая буква «Г».

Полуразрушенная ограда, идущая в обе стороны от арки, обильно заросла кустарником, вьюнами и бог знает ещё какими растениями. Предание повествовало, что обустроить поместье дед барчука начал с беседки и лестницы, а построив кирпичную арку, разорился – то ли проигрался в карты, то ли попалась ему в столице красавица... об этом предание скромно умалчивало, но на дом денег явно не хватило – вот и стоял он неухоженный и кособокий, поскрипывая на ветру большими деревянными суставами.

Вздохнув и оглянувшись на тащившую зонт и узел с вещами девку, барыня снова взяла за руку сына и направилась в сторону посеревшего от дождей небольшого двухэтажного дома с шатким балконом, ненадежно опирающимся на три подгнившие деревянные колонны. Четвертая отвалилась через год после рождения ребенка, но отец барчука не удосужился поставить новую, так как стареющая царица Екатерина призвала на службу красавца-помещика Акима Рубанова, и с тех пор он был редким гостем в своей родовой деревне. Служба в гусарах отнимала много времени и сил... Карты и женщины, парады и караулы заставляли забыть о доме и томлящейся там молодой жене, а случавшиеся военные кампании начисто отбивали память о небольшом поместье, затерявшемся на необъятных просторах России...

Иногда только, то на балу, то у костра военного лагеря, неожиданно вспоминал гусар жену и малого сына, тяжело вздыхал: следует испросить отпуск да съездить в Рубановку, а то избалуют мальчонку, но скоро в суете дней эта мысль забывалась до следующего раза. Так и жили мать с сыном в маленькой деревушке, насчитывающей сто тридцать две души, изредка получая весточку от мужа и отца. От бумаги пахло то вином, то духами...

Прочитав несколько раз письмо, и тяжело повздыхав, барыня убирала его в ларчик красного дерева, присоединяя к тонкой пачке, перевязанной синей лентой.

Небольшая дворня и крепостные не боялись помещицу, хотя изредка для острастки повелевала она кучеру Агафону, огромному волосатому мужику, выпороть провинившегося на конюшне, но затем обязательно делала наказанному подарок: мужику давала копейку на шкалик, а бабе – какую-нибудь ленточку.

«Матушка Ольга Николаевна» звали ее крепостные и не обижались на свою одинокую молодую госпожу: «Как же не бить? – рассуждали они. – Без битья совсем разбаловаться можем!..»

В округе проживало несколько помещиков, но все они были стары и скучны. Разговоры вели лишь о ценах на зерно, мясо и коноплю, кроме Священного Писания ничего не читали,

кроме охоты ничего не любили. Правда, на другом берегу Волги, напротив Рубановки, раскинулось обширное поместье генерала, но приезжал он туда редко, даже реже ее мужа, а точнее, был всего два раза.

Словом, тоска и скука!..

Поэтому Ольга Николаевна никуда не выезжала и гостей не принимала. Дни ее протекали в праздности и ожидании писем. Когда накатывало настроение, она долго и с удовольствием занималась с сыном; но в основном сидела в глубоком удобном кресле и развлекала себя вышивкой, игрой на клавикордах или читала. По воскресеньям приказывала кучеру заложить рессорную коляску и ехала в церковь, а после, заломив руки, бродила по комнатам... Зайдя в гостиную, вскользь бросала взгляд на знакомые до последней травинки пейзажные офорты, висевшие на стене, поправляла стрелку старинных часов и, зевая, шла в спальню, где долго рассматривала свое отражение в зеркале, а затем ничком бросалась на пуховую перину, зарывалась в нее лицом и долго-долго с наслаждением рыдала, временами взбивая кулачком мокрую от слез подушку...

Сын не замечал тоски своей матери, а скорее, даже не знал, что это такое. Он не понимал, как это можно скучать, когда впереди столько дел и жизнь так хороша и интересна.

Вечером, когда было еще душно, но солнце уже не пекло как днем, барчук отпросился у своей матушки в ночное. В старых холщовых штанах и мятой льняной рубаше, пузырившейся на спине, вопя во всю глотку от переполнявших его чувств, скакал он без седла на резвом вороном жеребце Гришке, распугивая деревенских баб и кур. На выезде из деревни, обгоняя скрипучую телегу с тремя мужиками, которые, свесив ноги в лаптях, тянули заунывную песню, не удержался и стегнул кнутом такую же, как и мужики, понурюю лошадь. От неожиданности та дернулась и громко заржала, показав огромные желтые зубы, чем развеселила Максима: «Вот это она им подпела, – захохотал он, – и зубы с мордой такие же, как у хозяина».

Сразу за дорогой уходили в глубь поля высокие желтые шапки стогов. Мужики с раннего утра косили и копнили сено. Душа веселилась и радовалась, любясь раздольем полей. Около молодой осинової рощицы, пустив коня шагом и потрепав его по холке, барчук поравнялся со стадом коров. Рыжий с белыми пятнами бык недовольно взревел и стал рыть передним копытом землю.

«Ишь ты, – опять развеселился барчук, – как наш лесник дядя Изот. У него такой же вид, когда Кешку бранит». Все веселило в этот вечер Максима. Запахи животных и молока, скошенной травы и прохладной сырости из оврага радостью колыхались в сердце.

Подъехав к дому лесника, Максим привязал коня к истершейся жерди у амбара и, перепрыгнув три низкие ступеньки крыльца, влетел в сени.

– Кешка! – заорал он, запаленно дыша.

– Ох, Господи! – выронила скребок Кешкина мать, прибиравшаяся в сенях. Босая, в высоко подоткнутой старой поношенной юбке, засучив рукава кофточки выше локтей, она близоруко шурилась в полумраке сеней.

– Кто это?

– Это я, тетя Пелагея. А где Кешка?

Ответить женщина не успела.

– А-а-а! Кто к нам пожаловал... – услышал Максим сипловатый, чуть надтреснутый голос и быстро обернулся.

Кешкин дед, держась рукой за косяк двери, снимал опорки.

– Пошли в избу, – пригласил он барчука, и, мимоходом, не удержавшись, широкая ладонь его хлопнула по пышному заду невестку, снова согнувшуюся над полами. Голые ноги ее виднелись до самых бедер.

– Тятенька, – выпрямившись и опять выронив скребок, распевно произнесла она, – я так никогда грязь не отскребу.

– Это ничего, – просипел дед, – меня завтра в баньке поскребешь.

– Озорник вы, тятенька, – вспыхнула та.

Громко топая пятками, дед ввалился из полутемных сеней в освещенную заходящим солнцем горницу. Был он маленький, аккуратный и крепкий, с густыми рыжими бровями на лице, побитом оспой и шрамами. Двадцать пять лет глотал и родную и чужеземную дорожную пыль бравый екатерининский солдат. Прошел всю Европу. Бил с Суворовым и турка, и француза. Какое-то время служил в одном полку с батюшкой барчука, заслонив его однажды от вражеской сабли. Вышел подчистую в чине вахмистра. И вот уже несколько лет по решению владельца Рубановки стерег его лес. Аким величал своего спасителя только по отчеству, так это и привилось в деревне. На этой должности Михеич не был таким верным, как в полку. Успел построить себе новый дом, амбар и сарай. Обзавелся тремя лошадьми, коровами и овцами. На широком дворе его, о чем-то шушукаясь, часто толклись мужики и увозили груженные бревнами, тесом или горбылем подводы.

Но Максима это мало трогало, а его мать бесконечно верила спасителю своего мужа и отпускала к нему сына даже на всю ночь.

«Ничему плохому Максимку он не научит», – думала она.

И вправду, сын приходил от деда Изота довольный, рассказывал, что учился стрелять из пистоля и сражаться на саблях, чему мать, конечно, не верила.

Но тянуло барчука, разумеется, не к деду, а к его внуку – вихрастому и такому же рыжему, как дед, отец и дядя.

– Барчук пришел! – обрадовался Кешка и вскочил с лавки, ненароком опрокинув ее и тут же получив от деда затрещину. – Я давно тебя жду, – улыбнулся во весь рот, не обратив внимания на подзатыльник, и обнял друга.

Дед, не выносивший телячьих нежностей, хотел одарить внука еще одной нравоучительной затрещиной, но передумал – а то вдруг барчук обидится, всё же товарищи... Изот Михеич не был злым человеком, но армия и военные кампании отучили его от сантиментов.

Вторая невестка внесла в горницу и поставила на стол кипящий самовар. Обеим бабам сравнялось по тридцать лет, и, в отличие от своих низкорослых мужей, они были высоки и дебели, с широким тазом и пышной грудью.

От чая ребята отказались и бегом помчались на улицу.

– Лошадей не запалите! – услышали вслед беспокойный голос деда.

И снова скачка, и снова ветер в лицо, и запах лошадиного пота вперемешку с запахом травы, ароматом полевых цветов и вечернего неба – и радость юной, начинающейся жизни, у которой всё еще впереди...

Ах как душист в детстве воздух родины!..

Иннокентий ловко сидел на молодой гнедой кобылке и, колотя по ее бокам босыми пятками, визжал от восторга:

– Не до-о-го-нишь!

– Гришка, давай! – умолял своего рысака Максим, даже не думая ударить его. И жеребец птицей летел, быстро сокращая расстояние. То ли на него подействовали уговоры хозяина, то ли глянулась гарцующая впереди кобыла, но через некоторое время друзья скакали вровень.

Солнце уже зашло, и над дорогой медленно поднимался густой душистый туман. На поляне неподалеку от берега Волги горел небольшой костерок. Отпустив пастись лошадей, друзья подсели в круг разномастной ребятни. К барчуку здесь привыкли и давно приняли в компанию как равного.

Над огнем уютно булькал котелок с ухой, и один из парней время от времени помешивал в нем здоровенной ложкой. Ночь стояла теплая, тихая и таинственная. Лишь иногда тишину

нарушал осипший, как у Кешкиного деда, покрик выпи да слышался убаюкивающий стрекот сверчков. Взрослые парни без устали ввали друг другу и остальным о девках. Максим вполуха прислушивался к разговору и неожиданно для себя задремал, прислонившись к теплему боку собаки. Несколько псов грелись у костра и, развесив уши, слушали человеческую брехню, делая вид, что верят.

– А она брыкаться. Я говорю – чего ты боишься? – и хватать ее за титьку, а она кричать... – рассказывал один из ребят, – да норовит по морде мне врезать... а титьки теплые, мягкие... – мечтательно сощурился рассказчик, – все-таки завалил я ее, руки к земле прижал, а как, думаю, портки-то с себя сыму? В-о-о-о! – Дружный хохот прервал его рассказ.

– Вишь, титьки он пощупал! – начал врать другой парень лет пятнадцати. – Вот я наемни залез рано утром, только светать начинало, в соседский сад – больно яблоки там вкусны, глю-у-у... под деревом на подстилке соседка лежит, Варька, в одной, значитца, рубашке, а рядом с ей ее младенчик спит. Перевернулась она во сне на бок, батюшки светы... глю... одна титька из рубашки и вывалилась... Я зырк-зырк по сторонам – нет никого. «На покосе все!» – грю себе и поближе подкрадываюсь... глю-у-у, сосок красный-красный и на ем капелька молока... – слушатели сидели открыв рты. Даже Максим раскрыл глаза и стал с интересом прислушиваться, щелкнув по носу лизнувшую его в щеку собаку.

– Глю!.. Грю... – в нетерпении передразнил рассказчика один из ребят. – Дальше-то че было?

Видя, что байка его пользуется громадным успехом, парень капризно помедлил; нагнувшись, помешал деревянной ложкой в котелке и не спеша продолжил, подув на обожженный палец:

– Ну, протянул я руку, а там пылат все, – сделал он паузу и лизнул пострадавший палец, – а тут пацан ейный к-а-а-к запищит, она глаза открыла да к-а-а-к дасть мне с размаху, я кувыркком через плетень и к себе... вроде сплю. – Опять хохот прервал рассказчика. Он тоже смеялся вместе со всеми.

– Ну и врать! – восторженно похвалил один из ребят. – Щас девки, может, купаются, айда подглядим? Я знаю, где...

После такого рассказа уговаривать ребят не пришлось. Оставив у костра самого младшего, – следить за огнем и помешивать уху – ватага дружно двинула к реке. И правда, миновав поле и пройдя немного по лесу, ребятня услышала веселые женские голоса. Дальше пошли уже осторожно. Стараясь не шуметь, продрались сквозь густой кустарник и, раздвинув его, в лунном свете увидели чудную картину... С десяток девок мылись в реке после покоса и жаркого дня. Тела их блестели от воды и лунного света. Слышались смех и визг, раздавались шлепки по воде и по спинам.

– Грю вам, это Варька, – услышал Максим восторженный шепот, – ишь распрыгалась...

– Тише, тише! – зашикали на него друзья, во все глаза разглядывая женщин.

Либо подействовали разговоры ребят, либо щедро усыпанное звездами небо, прятая лунная ночь и душистый лес... А может, была виновата свежесть реки, но Максим другими, уже не детскими глазами, несколько смущаясь и краснея, смотрел на резвящихся молодок. Увидел он и Варьку – статную молодницу с цветущей грудью кормящей матери. Зябко пожимая плечами и виляя крутыми бедрами, она выходила из воды, постепенно открывая взору всю себя. Дыхание у Максима перехватило. Он даже удивился, почему раньше не волновала его женская красота. «Словно русалки из сказки», – думал он, любуясь девичьими фигурами.

Замерзнув, одна за другой выходили женщины на берег. Отжимая волосы и расчесывая их, поворачивались к Максиму то боком, то спиной, то грудью – словно дразнили его своей красотой.

Кто-то из ребят или случайно, или нарочно, чтоб испугать девок, затрещал ветвями кустарника.

Под крики и женский визг Максим с пацанами, приминая пятками росистую траву, помчались прочь от реки.

Довольные увиденным, все снова расселись у костра. Как раз поспела уха.

– Здоровско, да? – толкнул Максима локтем в бок Кешка.

– Что именно? – обжигаясь ухой, прикинулся тот.

Похлебав ушицы, некоторые из ребят пошли спать в просторный шалаш, выложенный из веток, но большинство осталось у костра. Кешка, подбросив в огонь хвороста и сошурившись от попавшего в глаза дыма, икнул и блаженно погладил полное брюхо. Максим лег на живот и задумчиво глядел на пожирающий ветки огонь. Какое-то беспокойство закрадывалось в его душу... Слышно было, как жевали траву, фыркали и вздыхали лошади. Вооружившись ветками, ребятня азартно отгоняла комаров. Порыв ветра пошевелил кроны деревьев. В лесу застонало и заухало. Громко всплеснула вода.

– Водяной шалит! – с опаской произнес один из мальчишек.

Все, стараясь скрыть страх, повертели головами по сторонам и придвинулись ближе к огню. Даже собаки, поскуливая, жались к людям, или так показалось Максиму. В чаще леса он увидел горящие глаза. Указал Кешке в ту сторону, но тот дрожащим голосом ответил, что ничего там нет.

Максим огляделся по сторонам – горящих глаз не было видно, но показалось, что кто-то ходит вокруг. Двумя руками он подтянул к себе собаку. Неожиданно кругом затрещало, собаки, вскочив, зарычали, Кешка заорал благим матом...

Максим вскочил и, дрожа всем телом, приготовился встретить нечистую силу: «Негоже дворянину ведьм бояться», – подумал он.

Тут они и набросились на ребят... стали ожигать их крапивой, почему-то Максима не трогая. Один из парней в ужасе свалился в костер, но ведьмы быстро его вытащили.

Кешка ловко полез на дерево, громко вопя и отлягиваясь от стройной маленькой ведьмочки с накрытой пучком травы головой. Один мальчишка, икая и вытаращив глаза, сидел и мелко крестился.

– Что, получили? – ухмыльнулась ведьма, скинув с головы копешку из травы. – Будете знать, как подглядывать, – засмеялась она, убегая.

Максим тяжело плюхнулся рядом с крестившимся парнем. Неподалеку от него, тяжело дыша, улегся слезший с дерева Кешка. Из леса стали возвращаться смущенные ребята.

– Ну и ну!.. – смеялись они, приходя в себя. – Вот это отомстили.

В эту ночь, конечно, никто так и не уснул.

«Июль – красота цвета и середка лета», – приговаривала старая, но бодрая еще нянька Максима.

Нянька Лукерья подняла и поставила на ноги не только Максима, но и его мать и поэтому пользовалась в доме непререкаемым авторитетом. Домашние дела, заготовки на зиму, соленья, варенья – всем заведовала она. Лечила простуды, заговаривала чирьи, все знала и умела старая мамка. «Июль-сладкоежка щедр на душистые ягоды», – жевала она тонкие бескровные губы и раздвигала клюкой кустарник.

Поутру с лукошками пошли в лес. «Столько присказок никто не знает», – думал Максим, с уважением поглядывая на бодро ковыляющую по лесной траве старушку. В зелени травы густо синели колокольчики, и Максим, балуясь, сшибал их палкой. Тяжело нагибаясь, нянька рвала и складывала в корзину золотистый зверобой, череду и чистотел. Показывала барчуку ягоды лесной малины. – Чего, дитяtko, мимо идешь? – ласково спрашивала она. – Набивай полный рот. Интересно ему ходить с нянькой Лукерьей.

В другой день шли по грибы – собирали разноцветные сыроежки, а в небольшом хвойном лесочке набрали полное лукошко желтых лисичек. Любил свою няньку барчук.

Гусарский полк, в котором командовал эскадрон ротмистр Аким Рубанов, рескриптом императора Александра готовился к отправке в Австрию для участия в военной кампании.

Кутежи шли беспробудные, эскадрон полностью был небоеспособен. До обеда спали. Днем собирались у кого-нибудь из офицеров на квартире. Пили шампанское, постепенно приходя в себя, делились впечатлениями о предыдущей ночи. По мере выправления здоровья начинали хвастаться выпитым и количеством соблазненных дам... Вечером шли либо в ресторан, либо на бал, либо в театр. Впрочем балы летом стали редки – весь высший свет разъехался по своим поместьям.

Жизнь на какое-то время обернулась к Рубанову черной своей полосой. Во-первых, в кои-то веки решил выхлопотать отпуск, но вышла промашка в связи с начинающимися боевыми действиями. Во-вторых, за дуэль с преображенцем Мишкой Васильевым, ловеласом, бретером и пьяницей, чуть было не разжаловали.

«Но теперь всё позади, – думал он, – а впереди благословенная война, стычки с неприятелем, взятые города, награды, бочки мадеры и немецкие фрау, а может, французские мадемузельки... словом – Жизнь!»

Ротмистр, несмотря на свои сорок лет, не потерял еще вкуса к жизни и, словно юный корнет, старался взять от нее как можно больше. Он легко относился к изменам своих любовниц, легко изменял сам, в карты ему чаще везло, чем не везло – на жизнь с шампанским хватало. Жене с сыном денег из жалованья не отправлял, но и с поместья не брал ни копейки. Словом, с офицерской точки зрения, служба пролетала так, как ей и было положено...

Правда, не всегда ладил с начальством – отцы-командиры считали его задиристым и колючим, но друзьями и женщинами был любим и любил их сам. Поэтому судьба не наложила на его лицо глубоких морщин – следов забот и раздумий, лишь чуть посеребрила виски, что придавало суровому облику гусара тонкую пикантность и некий шарм.

Невысокого роста, стройный и подтянутый, в расшитом золотыми шнурами доломане¹, на левом плече ментик² с высоким, обшитым мехом воротником, на голове кивер, к левому боку пристегнута сабля... – ну кто из женщин мог устоять супротив молодца-гусара?

Однако отправка все отменялась. Лето прошло в постоянных кутежах и дуэлях. К осени несколько офицеров были разжалованы в рядовые, кое-кто отправлен в отставку. Гарнизонная гауптвахта никогда не пустовала. Гусары были там даже не гостями, а завсегдатаями.

Наконец осенью прошел слух – выступаем в поход... Гусары удвоили свое старание, конечно, не в службе, а в отношении вина и женщин.

Аким Рубанов опять крупно повздорил с уланским полковником. До дуэли дело, однако, не дошло, но офицерская гауптвахта распахнула и ему свои объятия.

В октябре эскадрон Акима Рубанова покинул сырой Петербург и расположился в одном из австрийских сел. Переход прошел успешно и весело. Страдали в основном не от неприятеля, а с похмелья.

В герцогстве Австрийском тогда молодой еще корнет Рубанов успел побывать, попил в свое время здешнее вино, потискал местных фрау, поэтому сейчас его нисколько не трогал сельский ландшафт или жители: не интересовали их аккуратные фруктовые сады и красные черепичные крыши домов. Все это он уже видел и пережил. Встретив знакомцев в соседнем полку, распалил всех на игру, быстро, словно враг уже наступал, раздвинули бостонные столы и составили партии. Несколько ночей напролет офицеры сидели напротив друг друга, не выпус-

¹ Доломан – гусарский мундир. расшитый по груди и рукавам золотыми или серебряными шнурами.

² Ментик – верхняя куртка, так же расшитая шнурами, как доломан и отороченная по борту, вороту и обшлагам мехом. Носили накинутым на левое плечо.

кая из рук карты и время от времени отхлебывая из стакана мадеру. Игра у ротмистра шла, и ташка³ его с императорским вензелем была плотно набита империялами. Словом, скучать не приходилось.

В середине октября инспектировать полк прибыл командир бригады Ромашов. Это был бодрый еще генерал-майор лет пятидесяти. Высокого роста, широкоплечий, с тугим животиком и пушистыми седыми бакенбардами на породистом лице, он производил впечатление бравого вояки и строгого начальника.

– Делать ему нечего! – злились оторванные от карт офицеры. Узнав об инспекции, полковой командир как всегда растерялся. Гусары давно шутили над его ужасом перед начальством.

– По мне лучше бы изрубить в капусту полк французов, нежели подвергнуться начальскому смотру, – говорил он всем и каждому.

Денщик носился с его парадным мундиром, разглаживая складки.

– Милостивый государь! – поскрипывая половицами и заложив руки за спину, выговаривал полковник Рубанову. – Вы совсем забросили свой эскадрон. Вы сюда прибыли не в карты играть, а сражаться с супостатом, – поднимал в себе раздражение командир полка. Он расхаживал перед стоящим во фрунт ротмистром и любовался его ладной фигурой и выправкой. – Пьешь, не спишь, а выглядишь превосходно, – похвалил все-таки своего друга.

Они были ровесниками, но полковник, словно на дрожжах, толстел. Щеки становились пухлыми и одутловатыми. В седло взбирался с трудом. «Вроде и ем мало», – расстраивался он, глядя на стройного гусара, и завистливо шевелил жирными плечами.

– Василий Михайлович! – смотрел на командира ясными голубыми глазами Рубанов, нисколько не смущаясь. – Поиграй с нами несколько ночей в карты, потом попаримся в баньке, потом я найду тебе дамочку, и станешь стройным, как палаш.

– Тебе, батюшка Аким Максимович, сорок лет уже, а ты как юнец безусый себя ведешь, – завистливо выговаривал полковник. – Остепениться пора. У тебя в деревне жена, сын растет...

Вспомнив о сыне, Рубанов опустил плечи.

– Да, надо хоть письмо написать, – вздохнул он.

Вечером в полк приехал штабной адъютант, майор средних лет, с подтверждением о смотре рано поутру и о выступлении затем в поход.

Выслушав гонца, полковой командир опустил голову, руки его задрожали. «Ой, беда, беда!» – трясся он.

– Васька! – заорал денщику. – Командиров ко мне.

Ровными рядами полк стоял на плацу.

– Ваше высокоблагородие, пора! – подсказал полковнику приезжий штабной адъютант, первым заметивший кавалькаду всадников с ехавшим впереди всех генералом.

Поборов дрожь, полковник молодецкато выхватил саблю и неожиданно гулко зарычал:

– Смир-р-рна!

Гусары замерли; казалось, даже их лошади перестали дышать.

Генерал, капризно качая головой в фетровой треуголке с плюмажем, подъехал к полку.

– На кра-а-а-ул! – заорал полковник, выкатив, словно от удущья, глаза, и полк четко выполнил команду, лязгнув саблями.

Генерал поздоровался, гусары, стараясь унять утреннюю дрожь, рявкнули здравицу. Полковник облегченно вытер разом, несмотря на прохладную погоду, вспотевший лоб и довольно улыбнулся. Генерал с напускным миролюбием на лице поехал вдоль фронта. Настроение у него было неважное, и он выискивал к чему бы придраться. Но мундиры были чисты, пуговицы

³ Ташка – плоская сумка трапецевидной формы. Носили её на трёх ремешках, пристёгнутых к поясной сабельной портуpee.

сияли, ряды стояли ровно, кони сыты и ухожены. Рядовые и офицеры «ели» глазами начальство... «Положительно не к чему прицепиться!» – раздраженно думал он, зорко осматривая ровную линию замерших эскадронов в красочно-пестрой форме, и на минуту даже залюбовался ладными молодцами.

Генерал, скосив глаза, осмотрел свой, сидевший на нем как влитой темно-зеленый мундир и белые лосиные панталоны и остался доволен... И тут глаза его встретились с наглым взглядом ротмистра.

Генерал нахмурился. Ему нравился тип людей, подобных полковнику, которые тряслись в его присутствии, а этот – мало глядит вызывающе, но еще и ухмыляется...

– Фамилия? – наливаясь кровью и тяжело уставясь на офицера, с угрозой спросил генерал.

– Ротмистр Рубанов, ваше превосходительство, – как показалось командиру бригады, нахальным голосом ответил эскадронный.

Генерал медленно окинул его с ног до головы холодным, значительным взглядом.

«Элегантен, конечно, но всего лишь ротмистр! – с удовольствием отметил про себя. – Только вот лицо его мне очень знакомо... На балу, видно, встречались».

– Как в строю стоишь? – неожиданно заорал генерал. – Смотри, куда конь залез?.. – со страданием в голосе, что есть еще такие недисциплинированные офицеры, кричал он.

Гусары стали старательно выравнивать лошадей.

– Молчать! – перебил хотевшего что-то ответить эскадронного. – Дожил до седых висков, а с конем справиться не можешь! – унижал ротмистра. – Словно первогодок... – он не успел договорить.

– Генерал! – безо всякого уважения ответил гусар. – Я обязан исполнять приказы, но не обязан слушать оскорбления!

Строй затих. Казалось, даже лошади в ужасе глядят на ротмистра, не говоря уже о командире полка.

– Что-о-о?! – генерал захлебнулся холодным бешенством. – Бунтовать?! В Сибирь захотел? Да я тебя!!!

На что ротмистр надменно рассмеялся:

– До Сибири далеко, ваше превосходительство, а дворянин может защитить свою честь и на дуэли...

– Под арест бунтовщика! – брызгал слюной разошедшийся командующий. – Я императору отпишу!.. Я... Я... – не мог подобрать наказания генерал.

Полковник, чуть не падая с коня от страха, трясущимися руками принял саблю своего подчиненного.

– А вам, полковник, ставлю на вид беспардонную, заметьте, беспардонную наглость ваших офицеров, – повернул к полковнику взбешенное лицо Ромашов. – Привыкли там... в Петербурге... – не договорив, поскакал прочь. За ним двинулась свита.

Под звук оркестра, четко выдерживая строй, полк проплыл мимо разоруженного ротмистра, приложившего два пальца к головному убору.

Что же вы, батенька? – чуть не плакал полковник, сидя вечером в кругу своих офицеров и без конца утирая лоб платком. – Право, так и в Сибирь недолго угодить, и в отставку...

Причем отставка беспокоила его значительно сильнее.

– Да не виноват Рубанов! – заступился за друга ротмистр князь Голицын. – Его превосходительству придрасться хотелось, что он успешно и осуществил... Да не думал отпор получить...

– Милостивый государь! – закричал полковник. – Какой отпор? Эта же – генерал!!! Вот получишь скоро производство в рядовые, забудешь про отпор-то, – пообещал он Рубанову, в сердцах хлопнув дверью.

Поутру разведчики сообщили, что недалеко, за лесом, обнаружен небольшой разъезд французов. Не успели оседлать лошадей, как появились уланы противника.

– На ко-о-нь! – раздалась команда Рубанова.

Эскадрон одним из первых в полку оказался в седле.

– Сабли из ножен! Ры-ы-сюю арш! – отдал он команду.

Несколько пуль, противно свистя, пролетели над головой. Негромко вскрикнув, позади кто-то упал. Эскадрон на рысях мчался навстречу врагу.

– Прибавь рыси! – приказал Рубанов и выстрелил из пистолета в сторону противника.

Радость начинала пьянить его. Радость боя! Сабля серебряной молнией рассекала воздух над головой. Краем глаза он видел своих кавалеристов, крепко сжимающих рукояти клинков.

– У-р-р-а! – зверели они, приближаясь к противнику.

Перед ними были уже не люди, которые так же, как и они, недавно пили вино, играли в карты и любили женщин... – это были ВРАГИ. ВРАГИ России, а значит – и их ВРАГИ.

Оскалив зубы, Рубанов врубился в строй растерявшихся уланов. «Узнаете русских гусаров». – Оглядывался, выбирая противника. «У-р-р-а!» – слышал вокруг себя и видел отвагу в глазах друзей.

– У-р-р-а! – хрипел сам, обостренно воспринимая происходящее, и даже не думал, что может погибнуть.

«За Отечество! За Россию! Что может быть слаще Родины? За что еще можно без раздумий отдать жизнь?!»

Постепенно крики затихли, и с обеих сторон слышались лишь стоны раненых и предсмертные всхлипы. Рубились деловито и молча, исправно и на совесть исполняя воинскую свою работу.

Прорубаясь сквозь неприятельский строй, разя направо и налево, пробивался он к центру, где заметил командира французов, рядом с которым гарцевали трубач и знаменосец.

Вражеский полковник выглядел спокойным. Кивер его валялся под копытами коня. Потные черные волосы прилипли к высокому лбу. Серые глаза на бледном лице спокойно смотрели на приближающегося врага. «Везет мне на уланских полковников, – подумал Рубанов, – своих и чужих». На минуту полковника заслонил разъяренный уланский капрал на толстом, сытом жеребце. В левой руке его чернел взведенный пистолет, направленный на ротмистра. Выстрелить улан не успел. Кхекнув, Рубанов ударил его по руке, и пистолет вместе с сжимавшей его кистью полетел на землю.

Превозмогая боль, дико скаля зубы и с ненавистью глядя на русского, из последних сил улан поднял правую руку с саблей, думая, успеет или нет, но гусар оказался и здесь счастливее и проворнее француза, а рука его – сильнее и тверже: пятьсот раз на спор вращал кистью свою шпагу ротмистр, – голова французского капрала свалилась под копыта, окропив кровью коня и мундир Рубанова. Спустя мгновение рухнуло вниз и обезглавленное тело.

На помощь полковнику подлетели еще несколько уланов и что-то кричали, пытаясь его увести, но бледный полковник, сжимая рукоять сабли, пристально смотрел на Акима и играл желваками.

К Рубанову, скача во весь опор, приблизился князь Голицын с гусарами, вооруженными карабинами.

– Пли! – скомандовал князь.

В его серых холодных глазах не видно было жестокости, а только печаль и жалость к людям, которые сейчас умрут по его приказу.

Свинец разметал вражеских уланов, свалив и трубача со знаменосцем, но не задев, однако, гордого полковника. Храбрые счастливы!

Честь пленить его Петр Голицын предоставил опальному командиру эскадрона. Князь не рвался к чинам, они сами шли к нему, поэтому в свои неполные тридцать лет он догнал уже Рубанова.

Полковник выстрелил в приблизившегося к нему русского, но пуля лишь пробила навывлет кивер, не задев гусара. Тогда, держа саблю в правой руке, а знамя, подхваченное у убитого знаменосца, – в левой, француз бесстрашно ринулся на врага. Рубанов восхитился этим невысоким и, по-видимому, совсем даже не сильным, но таким храбрым человеком, бесстрашно идущим на верную гибель. Спрыгнув с коня, чтобы быть на равных, он улыбнулся француз.

Бой был недолгим. Излюбленным своим приемом, основанным на крепости запястья, Рубанов резким движением выбил саблю из рук неприятеля, а свою приставил к его горлу. Он не хотел убивать человека, к которому почувствовал уважение, хотя это и был враг, но не удержался от щегольства и, рисуясь перед вражеским полковником и своими гусарами, обер неприятельским знаменем окровавленную саблю. Победа была полной и безоговорочной.

«Благодаря храбрости и умению гусары наголову разбили противника, пленив полковника и захватив знамя полка, – писал в депеше на имя Кутузова гусарский полковник, – особенно отличился командир первого эскадрона, ротмистр Рубанов, – отметил он, – прошу представить одного командира к награде».

А «онный командир», обняв левой рукой своего друга, князя Голицына, а правой – плененного врага, пил русскую, из чистой пшенички, водку и делал комплименты француз. Лесть была здесь не причем, оба солдаты, они понимали, кто чего стоит, а храбрость уважается любым честным человеком, независимо в какой армии он служит.

Француз лихо пил водку, чем опять вызвал уважение гусаров.

– Молодец! – хвалил его Рубанов и подливал в серебряную стопку. – Пейте, полковник, один раз живем и все под Богом ходим...

Говорили, естественно, на французском.

– Анри Лефевр, – представился француз, переодетый в новую гусарскую форму: его мундир был изорван и забрызган кровью.

– Давайте, Анри, выпьем за погибших, неважно, кто они... – поднимал стакан с водкой Голицын.

– Военная фортуна переменчива, – утешал себя француз, – и вы, и мы сражаемся на чужой земле, но за свою Родину... Выпьем за Родину – за теплую и ласковую Францию! – кричал опьяневший полковник.

– И за холодную, но тоже ласковую Россию! – поддержал его тост Петр Голицын. Глаза его на секунду затуманились и увлажнились. Он любил Россию и ненавидел войну.

– Жизнь прекраснее даже самой блистательной победы, – похлопывал француз по плечу Рубанов, утешая его.

Начались воспоминания о закончившемся сражении, гусары орали о своих подвигах, не слушая один другого, и пили... Русский человек все отмечает застольем – победу ли, поражение, рождение или смерть... Голоса были звонки и сочны, молодость бурлила в жилах, жажда жизни, побед и наград!.. Раздавались взрывы смеха и звон бокалов. Где-то достали шампанское и привели женщин. Голоса стали еще звонче, а жизнь еще прекраснее! К потолку летели пробки и поднимался табачный дым. Женщины повизгивали, что-то лопотали по-немецки и отбивались от дерзких рук.

– Я воюю за братство, равенство и счастье! – размахивал бокалом француз и пьяно глядел на пленившего его русского.

– А я воюю за Бога, Царя и Отечество, и в этом вижу свое счастье, – перебил его Рубанов.

– Вы имеете рабов, вы рабовладельцы! – горячился француз. – Люди рождаются свободными...

– Я тоже читал господ Вольтера и Руссо, – отвечал ему Голицын, – но пришел к выводу, что учрежденное природой и Богом, не может быть упразднено человеком безнаказанно, уравнение сословий в правах чревато гибелью нации...

– Однако Франция не погибла! – горячился Лефевр. – А напротив, скоро завоюет весь мир. Гений Наполеона возвысит французскую нацию. Я ведь не Анри Лефевр, – разоткровенничался окончательно опьяневший француз.

Шум утих, и все удивленно посмотрели на него.

– А кто же вы, маршал Мюрат, что ли? – съязвил Рубанов.

– Нет? Я граф Рауль де Сентонж, сложивший титул и состояние к ногам любимого императора.

– Весьма неумно! – вздохнул Рубанов. – Титул и состояние следует не складывать, а получать из рук любимого императора...

Гусарам давно надоел заумный спор их командира с пленным. Командир всегда прав! Даже, если неправ... И они занялись женщинами. Взяв гитару, направился к дамам и Голицын, по инерции размышляя о французской революции: «Однако Робеспьер многих дворян уравнил с простым людом. Головы равно слетали с их плеч», – думал он.

Гусары между тем привели еще одну даму, замерзшую в дороге и зябко кутавшуюся в меховую накидку. К радости присутствующих, она оказалась француженкой. Офицеры были приятно поражены ее элегантностью, и говорила она на понятном языке, в отличие от этих полнотелых фрау.

«Будь проклята наша российская склонность к раздумьям!» – чертыхнулся Голицын, любезно предложив гостье единственное кресло, но она решительно отказалась и скромно села на стул.

– Бог ты мой! – восхитился Рубанов, глядя на женщину. – Жив я, или душа моя на том свете в саду Господнем?

– Вы живы! – ответила женщина, улыбнувшись и устало снимая перчатки.

– А я думал, что это грезы... Не может столь редкостная красота осветить сей скромный уголок, – оседлал своего второго конька эскадронный командир и вдохновенно поцеловал тонкую ухоженную руку. – Кто вы, прекрасная незнакомка, – человек или мираж?

– Я скромная танцовщица балета, – ответила дама, – и следую в Петербург, – откинулась на спинку стула.

Это произвело фурор среди офицеров – в таком вертепе – и балерина... Положительно, Бог помогает страждущим!

– Осчастливьте воинов танцем, мадемуазель, – протянул ей цветок Голицын. Взгляд его повеселел и светился удовольствием от вида красивой женщины.

«Где он растение достал?» – мысленно ахнул Рубанов.

Женщина кокетливо улынулась Голицыну и пригубила бокал с шампанским. Офицеры тем временем освобождали для нее место, отодвигая столы и убирая стулья.

– Отказ, мадемуазель, будет неуместен, – с завистью глядя на князя, произнес Аким.

– Я станцую, – благосклонно кивнула она и вдруг замерла, увидев графа де Сентонжа.

Он же, побледнев еще сильнее, с бокалом вина подошел и поклонился ей.

Наступила тишина, и раздалась аккорды гитары. Сначала неуверенно, а потом все более входя во вкус, танцовщица кружилась и выгибала свое тело, языком танца воспевая любовь, молодость и жизнь.

Офицеры замерли, наслаждаясь женской грацией, изгибом рук и, – о боже! – иногда мелькавшей над тифелькой ножкой. Танец ее кружил голову и будоражил молодую кровь.

– Виват! – дружно закричали офицеры, когда уставшая балерина сделала легкий книксен и поднесла к губам цветок.

Граф де Сентонж, он же Анри Лефевр, молча поцеловал даме руку, а она, в свою очередь, коснулась губами его спутанных густых волос.

– Господа! – произнес он. – Это моя старинная приятельница.

– Виват! – опять кричали офицеры и пили за графа и его знакомую, за женщин, музыку и любовь...

Утром не выспавшийся, похмельный, неудовлетворенный и злой Рубанов повез пленного в штаб армии. Зато оттуда, веселый и довольный, привез орден Святого Владимира 4-й степени и прощение о «допущенной им бестактности по отношению к его превосходительству генералу Ромашову» – так звучал рескрипт Кутузова.

– И вытер саблю о вражеское знамя! – восхитился главнокомандующий: депеша об этом полетела в Санкт-Петербург.

Минул Ильин день, а с ним и жаркое лето. Утра стали холодными и росистыми.

– До Ильина мужик купается, а с Ильина дня с рекой прощается, – приговаривала нянька Лукерья. – Есть сено, так есть и хлеб, – пекла с Акулькой каравай из новой ржи. – Для благословения в церковь его понесем, – целовала тонкими сухими губами душистую корку.

Начинались дожди... Гулять Максим стал реже, больше времени проводил дома, занимаясь с матерью французским языком, а с чернавским дьячком – счетом и русской грамотой.

По выходным ездил с матерью в церковь, думая о том, что скоро по грязи коляска не сумеет пройти пяти верст до Чернавки, где и находилась ближайшая церковь. Была, правда, церковь на том берегу реки в Ромашовке, но матушка плавать в лодке боялась.

«Вырасту, – мечтал Максим, – стану богатым, обязательно в Рубановке церковь выстрою... о трех куполах, как в нашей семье – отец, мать и сын».

– Закат нонче красный, знать, ветер будет! – топая ногами, зашел в людскую Данила и громко сбросил дрова у печи.

– Сними обувь-то, вон сколько на полы натекло, – недовольно забубнила Лукерья, смачно прихлебывая чай из надтреснутого блюда.

Девка Акулька уговорила ее, а значит – и барыню, взять работником в дом так понравившегося ей молодого рыбака.

– Садись с нами чай пить, – пригласила она разбитного работника.

– Со всем удовольствием! Чай пить – не дрова рубить... – устроился он за столом.

Кучер Агафон недовольно оглядел нового дворового: «Ишь язык как подвешен, ровно помело метет, – думал он, чуть подвигаясь на лавке и уступая место. – А этой дурочке наверняка сообразит ребяточка видит бог, сообразит. Да не моя то забота, – одернул себя, – мне, что ли, нянчиться?»

Его мысли почувствовала и старая Лукерья.

– Ты, Данилка, человек новый туточки, мотри не балуй... знаю вас, кобелей...

– А откуда же, бабушка, вы их так хорошо знаете? – улыбнулся бывший рыбак, громко прихлебывая чай.

Старушка обидчиво поджала губы.

– Получишь розог на конюшне, тогда узнаешь, голуба. А ты чего расселась? – накинулась она на девку. – Самовар барыне неси.

Тряхнув волосами и стрельнув озорными глазками на Данилу, Акулька подхватила самовар и скрылась в комнатах.

– Ишь, егоза! – ласково произнесла нянька и строго поглядела на Данилу: «Чегой-то зря я его в дом взяла...» – вздохнула она.

Тринадцатого сентября⁴ под Воздвижение Креста Господня барыня решила ехать ко все-нощной в церковь.

– Что-то душа не на месте! – жаловалась она няньке. – Получила письмо от Акима Максимовича – на войну собирается...

– Ох, Господи! – перекрестилась мамка. – Так и я с тобой поеду, – с нежностью смотрела она на барыню.

На Воздвижение в Чернавке шумела ярмарка. Ольга Николаевна надумала развлечь сына. После церкви она немного успокоилась.

Максим пил грушевый квас и наблюдал, как цыган мужику лошадь торгует и безбожно его обманывает.

Сидящий на облучке брички Агафон тоже недовольно хмурился – жалел бестолкового мужика. Наконец, не выдержал и огромный, такой же обросший, как цыган, подошел к ним.

Максиму со своего места хорошо было видно, как он спорит с цыганом, указывая мужику на лошадь. Цыган что-то лопотал, яростно глядя на Агафона и жестикулируя руками: то поднося их к груди, то показывая на небо. Мужик сначала недоуменно крутил головой, затем какое-то понятие забрезжило в его дремучем мозгу, и через минуту он с остервенением лупил цыгана под хохот рубановского кучера.

Ярмарка в этот раз была скучная и быстро надоела.

По пути домой Максим выпросил разрешение у матушки посетить Кешку, и Агафон довез его почти до их дома.

– Недолго, сынок, – крикнула, уезжая, мать, – к темноте домой вернись, да пусть проводят тебя.

Зайти к деду Изоту она почему-то не захотела.

Кешки дома не оказалось: уехал с отцом и дядькой на рыбалку.

– Подожди маленько, – предложил Изот, – скоро вернуться должны.

Сам он вместе с невестками укладывал в сарае сено.

– Бери, барчук, вилы, да сено мне подавай, а я девкам наверх метать стану, – подключил Максима к работе.

Поплевав на ладони, тот доблестно схватил вилы.

Выглянуло вечернее солнышко, на минуту тонкими лучами пронзив высохшее душистое сено сквозь щели сарая. Воздух был тягуч и душен. За перегородкой фыркали и трясли головами лошади. По перекладине под самой крышей, как сегодняшней канатоходец на ярмарке, осторожно шествовал пушистый кот. Иногда он останавливался и строго поглядывал на людей – видно, сорвали его охоту.

Работали споро.

– Барчук, поспешай! – смеялась наверху Кешкина мать.

– Чё, папенька, не успеваешь за бабами? – подначивала, подбегая к краю стога, вторая невестка. Наклонялась, вывалив из старенького сарафана груди, поддевала вилами навильник сена и несла его вглубь, плотно укладывая под самую крышу.

Через полчаса руки мальчика начали дрожать от напряжения, а вилы выскальзывали из потных ладоней.

«Не сдамся!» – думал он, подтаскивая сено. На его счастье, сена становилось все меньше и меньше.

– Еще чуть-чуть – и шабашить будем! – задыхаясь, произнес дед Изот. Лицо его напоминало по цвету свёклу.

⁴ Старый стиль.

По крыше застучали крупные редкие капли, и через минуту хлынул ливень, подсвечиваемый с боков и сверху зигзагами молний.

– А сенцо-то сухое будет... – приговаривал дед, подавая наверх последние душистые охапки, – и дождь ему нипочем.

Максим облегченно прислонил вилы к стене и подошел к копне. Сквозь открытую дверь приятный влажный сквознячок охлаждал разгоряченную кожу, зудящую от прилипших к ней травинок и мусора.

– Молодец, барчук, – похвалил лесничий. – Сейчас мужики придут, и в баньку пойдем.

– Поберегись! – раздался веселый крик, и по покатоному боку копны, точно с горки, стала съезжать Кешкина мать.

Мальчик и дед поспешно отскочили в стороны.

– Тьфу ты, телки бесстыжие, – беззлобно сплюнул старик, разглядывая съезжавшую Пелагею.

Максим тоже поднял глаза к потолку. Сначала увидел над собой две грязные ступни и ноги, открытые до колен и оголявшиеся по мере спуска все выше и выше.

– А-а-а-й! – завизжала женщина и, смеясь, упала на неубранное сено у основания копны. Сарафан ее задрался, открыв взору полные, чуть расставленные ноги, казавшиеся особенно белыми в полумраке сарая. Она лежала на спине, смотрела на мальчика и смеялась, чуть подрагивая уставшими бедрами.

– Что, барчук, не видел еще бабу? – наконец поднялась Пелагея и сбросила с головы платок. Черные ее волосы рассыпались по плечам. – Да какие твои годы... – улыбнулась она, – надоест еще глядеть.

Растерянный и потрясенный, смотрел он на нее и не мог придумать, что сказать в ответ. Щеки его горели от неизвестного дотоле возбуждения.

Выручила Максима съехавшая со стога другая женщина. Она не упала, сумела устоять. И опять он увидел белизну ног...

Непроизвольный судорожный вздох и глубокий нервный выдох вернули меня к жизни. Растерянный, я оглянулся. Бабы стояли уже у двери, глядели на дождь и толкались локтями, затем, завизжав, словно девчонки, и держа платки над головами, кинулись в дом.

Дед положил руку мне на плечо и подвел к выходу. Лицо его сменило свекольный цвет на капустный.

– Куда ты, барчук, в такой дождь поедешь? – рассуждал он, поглядывая на небо. – Вишь, разверзлись хляби небесные, – закричал, прикрывая дверь, и мы припустили к крыльцу. По пути, отбежав в сторону, он схватил валявшиеся на земле грабли и следом за мной взбежал на крыльцо. Рубаха его прилипла к худому телу, капли воды стекали по лицу. Я тоже был совершенно мокрый. Тело ломило от приятной усталости.

– Пороть этих девок некому! – беззлобно засипел он. – А вот и рыбаки появились, – обрадовался дед. – А это еще кто? – разглядел вторую телегу, которую, напрягаясь и скользя по грязи, тащила понурая лошадка.

На первой, укрыв головы насквозь промокшими крапивными мешками, сидели трое мужичков. Среди них различил худенькую фигурку внука. На другой телеге ехал лишь один мужичонка.

– Кешка, – рванулся к нему Максим.

Увидев друга, тот спрыгнул в грязь, и мы стали носиться по лужам, словно расшалившиеся щенки. Дождь уже не страшил, а только радовал. Беготня закончилась тем, что, поскользнувшись, тот и другой плюхнулись в жирную грязь, но это еще сильнее развеселило озорников.

– В дом не пойдем, сразу в баню, – командовал дед Изот, помогая барчуку встать и попутно отвешивая Кешке подзатыльник. – Это бревно не тронь! – неожиданно заорал прорезавшимся фельдфебельским басом.

Мужик, приехавший на второй телеге, оторопел и уронил бревно, зашибив себе ногу.
– Так точно, господин вахмистр! – заблажил он то ли в шутку, то ли всерьез, прыгая на одной ноге.

Такое почтительное обращение смягчило лесника и напомнило времена его молодости.

– Ну ладно, сукин кот! – добродушно махнул рукой. – Бери, но когда разгрузишься, заедь к барыне и доложи, что сын заночует у нас. Не дай бог простудится парень, – перекрестился дед.

Довольный крестьянин мигом, пока лесник не передумал, загрузил бревно и, взяв лошадь под уздцы, споро потащил ее со двора.

С узелками в руках под навесом крыльца появились бабы и, с трудом сдерживая смех, скорбно сморщившись и качая головами, разглядывали улов.

– Чтой-то рыбка у вас нынче никудышная! – укорили мужей.

Они так сдружились, даже сроднились, что не только говорили и думали одинаково, но даже их жесты стали схожи.

– Мыться-то как будем, по отдельности? – пряча улыбки, серьезно глядели на свекра.

– Вот что, девки, – издалека начал тот, глядя на уходящее со двора бревно, – видно, все-таки жалко стало. – Лес не мой – барский! А я должен его беречь и экономить, а такую здоровенную баню два раза топить, так это же сколько дров надо? – рассуждал он, подхватив под ручки невесток и увлекая их к невысокому срубам с маленьким мутным окошком.

– Чё там, правильно папаня балакает – никаких дров не хватит по два раза топить, – поддержали его сыновья, тоже подхватив под ручки жен и перехватив у них узелки.

Максим с Кешкой, расталкивая взрослых, стремглав кинулись к срубам. Уже в предбаннике вязкая духота приятно защекотала враз покрывшуюся мурашками кожу. Толстая свеча, мигая и задыхаясь от жары, тускло чадила на небольшом столе.

– Сначала согреемся и поснедаем чем бог послал, – решил глава семейства и, взяв у одного из сыновей узелок, положив на стол, развязал.

Вареная картошка, редька и пупырчатые маленькие огурчики рассыпались по грубо струганым доскам. В отдельном свертке, желтом от жира, лежали нарезанные ломтики засоленной сомятины. Большие куски ржаного мягкого хлеба довершили соблазнительную картину. Я сглотнул неожиданно набежавшую слюну.

– Вот это будет пиршество! – водрузил на стол вместительную граненую бутылку зеленого стекла Изот. – Это немцу не выдюжить! – Наливал он по чаркам водку из запотевшей на жаре посуды. – А нам, русакам, ни хрена не делается – только здоровее будем! – Тут же проглотил свою порцию, сморщившись, бросил в рот огурчик и смачно им захрустел.

Сыновья и их жены, солидно перекрестившись, не спеша последовали его примеру.

Закусывая, Кешкина мать, не стесняясь, растегнула кофточку... и у Максима даже кусок застрял в горле, когда увидел, как ее груди вырвались на свободу. Только сейчас до него стало доходить, что будет мыться вместе с бабами в бане...

Кешкина мать хитро кивнула в его сторону: – А барчуку не рано с бабами мыться, а ежели дурно станет?

– Молоденький еще, так что не станет, потому как не понимает пока ничего, – заступился дед Изот, укоризненно взглянув на невестку. – Расшутилась, кобылка!

Между тем сняла кофточку и вторая невестка.

Мужики, не обращая на жен никакого внимания, увлеченно выпили еще по одной и шумно делились впечатлениями о рыбалке.

Исподтишка, робко, покосился на женщин – они как раз начали снимать исподние белые юбки. И снова дыхание замерло в груди... Быстро скинув грязные штаны и рубаху, кинулся в парилку. Кешка уже плеснул воду на камни и растянулся на полке.

– Заходи, не дрейфь! – откуда-то из угла услышал его голос.

Сделав пару неловких шагов, уселся на полку. «То из-за баб дыхание в грудях спирает, то от пара – так и помереть недолго».

– Что, брат, тяжело без привычки? – Из густого тумана вынырнул Кешка. – Потерпи, скоро полегшает. – Облил друга холодной водой из бочки.

Какое это блаженство – холодная вода на раскаленное тело...

«Сейчас зайдут!» – в замешательстве глядел на дверь.

Дышать стало легче, пар уже не душил, но в зное русской бани Максим дрожал от холода, или от нервов, или от ожидания... «Чего трясусь? – успокаивал себя. – Голых баб, что ли, не видел? Эка невидаль!» – плюнул на пол для бодрости.

Дверь отворилась, сквозняком разогнав пар, и баню заполнили голые тела. Первым шествовал дед с большим деревянным ковшом, который сжимал обеими руками. За ним – сыновья, а замыкали строй их жены. К радости мальчика, страх прошел и осталось только любопытство. Опять стало душно. Женщины, не обратив на него внимания, полезли наверх. Дед подошел к раскаленным камням.

– Вот тебе баня-банюшка, парься не ожгись, поддавай – не опались, – плеснул из ковша и заорал опять прорезавшимся баском: – С полки не свались, за веник держись! – И на всякий случай улепетнул к Максиму от раскаленных клубов пара. – Ух, хорошо! Правда, барчук? – Тут же храбро полез наверх.

Тот утвердительно покивал, судорожно хватая ртом воздух. Через минуту с удивлением уловил духовитый запах цветущих полей. «Видимо, квасом плеснул».

Дышать стало полегче, и Максим с любопытством огляделся. На самом верху, на третьем полке, расположились мужики. Кряхтя и чертыхаясь от удовольствия, они так хлестались вениками, словно за что-то наказывали себя.

– Веник в бане – всем начальник! – услышал голос лесничего. На этот раз говорил он тихо. – На Иванов день ломал, – кому-то объяснял дед, – листочки мягкие, веточки молодые... Кешка! Барчука попарь, – велел он.

– Какой из него парильщик? Я сама попарю, – отозвалась Кешкина мать. – Ложись на полку, барчук, – насмешливо произнесла она и чуть нагнулась, качнув грудью. Глаза ее стали лукавыми.

Сказано было вовремя! Максим, не мешкая, упал на живот и снизу вверх стал смотреть на нее.

Повернувшись к нему спиной, она медленно пошла к стоящей неподалеку от камней кадушке с вениками. Подобрал веник, Пелагея не спеша, ленивыми движениями, стала помахать им над спиной барчука, не касаясь кожи. Сладкий аромат весеннего березового сока щекотал ноздри.

– Баня – мать вторая, кости распарит, все тело поправит, – нежным голосом произнесла она, не обращая ни к кому в отдельности и продолжая помахать веником вдоль спины и ног, но уже задевая кожу листьями.

Мужики, матерясь в полный голос, секли друг друга, словно розгами.

«Видимо, закаляют тело на случай, ежели очутятся в конюшне у Агафона», – хмыкнул Максим.

Кешкина мать не обращала на них внимания, сосредоточившись на венике и спине парня. Непередаваемое удовольствие овладело Максимом. Мышцы расслабились, и ему казалось, что растекся по горячей лавке и никогда уже не сможет подняться с нее. Между тем веник гулял по его рукам, безвольно брошенным вдоль тела, по спине и ногам, навевая негу и сон.

Из дремотного состояния вывели распаренные небольшие ступни, опустившиеся рядом с головой. Думая, что это Кешка, Максим с трудом поднял голову, и взгляд его стал подниматься вверх по крепким икрам с прилипшими к ним листочками, по круглым коленям, все выше и выше...

Со стоном он закрыл глаза и рухнул лицом на лавку.

– Дуська, не мешай, ведьма, – шутя, хлестнула подругу по ягодицам Пелагея, – ступай папеньку попарь, – съехидничала она, зачерпнув ковшом холодной воды и опрокинув содержимое на меня. – Экое ты золото, – взъерошив мокрые волосы барчука, произнесла она и присоединилась к остальным.

Полежав еще какое-то время, Максим с трудом добрался до предбанника и с жадностью выпил полный ковш кваса.

Через минуту появился Кешка.

– Что, напарился? – подмигнул он. – Айда-ко, брат, под дождь.

Дышалось удивительно легко. Воздух был свеж и чист до звона.

Когда друзья, удивительно бодрые и веселые, снова ввалились в предбанник и стали в лохани мыть ноги, из парилки, кряхтя и всхлипывая, с трудом передвигаясь, поддерживаемый женщинами выбрался дед Изот.

– Квасу! – чуть слышно просипел он и, как куль с мукой, брякнулся голым волосатым задом на лавку.

Женщины, смеясь, поинтересовались: – С мятой аль с липовым цветом, тятенька?..

– Любого давайте, окаянные, – прохрипел он.

– Выпей кваску, забудешь тоску! – Пелегея подала свекру кружку и скрылась в парилке.

Русская армия отступала, преследуемая более удачливыми французами. Потрепанные не столько врагом, сколько беспорядком и путаницей, голодные, грязные и оборванные колонны русских войск отходили сначала к Вене, затем дальше – вниз по Дунаю. Противник и бестолковые союзники не давали времени остановиться, оглядеться, окопаться и принять бой. А может, такова была стратегия Кутузова?.. «Главное – спасти армию!» – рассуждал он, забывая, что армия – это организм, предназначенный сражаться и побеждать, а при отступлении он разлагается и, в конце концов, гибнет, если не от рук врага, так от болезней, если не от ядер и пуль, так от холода и голода... Отступление деморализует армию и превращает ее в толпу испуганных людей.

Главнокомандующий, видимо, понимал это и в конце октября, перейдя уже на левый берег Дуная, решил и атаковал дивизию Мортье. И была победа, взбодрившая русские войска, поднявшая их боевой дух, напомнившая, что они русские и привыкли побеждать, а не отступать. И главное, была передышка от постоянного бегства. Впервые за две недели изнуренная армия имела возможность хоть немного передохнуть и залечить раны.

Гусарский полк расположился под горой неподалеку от небольшой австрийской деревушки. Справа от полка, близ аккуратного леска, а может – парка, разместился пехотный полк и батарея из четырех орудий на горе. С левой стороны русских войск не было, зато, к огромной радости гусар, раскинул шатры табор австрийских цыган. Они быстро разожгли костры и стали терпеливо поджидать гостей. Рубанов велел поручику Алпатьеву произвести фуражировку.

– Поручик! – давал последние наставления ротмистр, расхаживая взад и вперед перед небольшой командой понурых гусар, сидевших на замотанных лошадях, и Алпатьевым, державшим коня в поводу.

Поручик был молод и смешлив. Делая вид, что внимательно слушает командира, он подкручивал только начинающий пробиваться ус и мечтательно поглядывал на цыганские шатры и женщин в ярких цветастых юбках. Ноздри его горбатого носа едва приметно подрагивали, улавливая романтический дым цыганских костров. Мыслями, разумеется, он был не на фуражировке, а в шатре рядом с красавицей цыганкой, певшей ему песни, улыбавшейся обещающей улыбкой и призывно встряхивающей юбками.

– Поручик! Черт-дьявол! Проснитесь, – без злости рявкнул ротмистр, в душе похвалив гусара: «Что же это за молодой офицер, ежели о службе он будет думать больше, нежели о

женщинах?!» – ...Кроме корма для лошадей поищите в деревне чего-нибудь съестного и для ребят, может, увидишь беспризорную курицу... или там поросенка – тут же хватай! – отпустил он наконец маленький отряд. – А главное, о вине не забудь! – вспомнив, закричал вслед поручику.

Тот кивнул и тут же, привстав на стременах, вперился взглядом в табор.

«Следует вечером непременно заглянуть к цыганам...» – улыбнулся ротмистр.

– Надеюсь, скучать нам тут не придется? – отвлек его подъехавший князь Голицын.

– Вечно вы, князь Петр, неожиданно подкрадываетесь, – вздрогнув, ответил ему Рубанов, с удовольствием разглядывая ладно сидящего на породистом вороном скакуне друга. – Куда направился?

– Да вот решил рекогносцировкой заняться.

– У цыган, что ли, ваше сиятельство? – засмеялся Рубанов, вставив ногу в стремя и легко вскочив в седло. – Тогда я с вами.

– Мон шер, давайте прежде объедем позицию, – беспокойно взглянул князь на деревушку. – Полагаю, сия передышка будет недолговечной.

– Надоело отступать, – вздохнул Рубанов. – Где же Суворовы, Потемкины или Орловы? Никогда еще не позорился я перед врагом своей спиной!

– Суворовы, Румянцевы... Я все думаю, отчего мы, русские, так любим воевать?

– Как отчего?! – даже поперхнулся Рубанов. – А что на свете прекраснее войны? Что сильнее всего дает ощущение жизни? – Война! А карты, вино и женщины – это лишь золотая оправа бриллианта войны...

Печальные глаза князя повеселели, когда он обернулся к вдохновенно размахивающему свободной от повода рукой ротмистру.

– Может, вы и правы, мой друг, не знаю, – улыбнулся он. – Ежели нам дано это понять, то лишь перед смертью...

– Б-р-р-р! – передернул плечами Рубанов и натянул повод – лошадь всхрапнула, завертелась на месте, а потом резко встала на дыбы. Справившись с лошастью, наездник похлопал ее по шее, успокаивая. – Князь! Что может быть противнее смерти от старости в собственной постели, на пуховых перинах?.. Умереть приятно в бою, забрав в компанию несколько врагов, чтобы было с кем драться и на том свете – хотя там можно и просто погонять чертей...

Погода снова испортилась. Мелкий и нудный осенний дождь впитывался в не успевший просохнуть гусарский ментик. Ветер усилился. Черные мрачные тучи низко нависли над лагерьем. Темнело! Сероватая австрийская грязь чмокала под копытами лошадей. Шумел деревьями редкий лесок. Сидевшие у костра четверо солдат живо вскочили, завидев офицеров.

– Садитесь! – благосклонно разрешил Рубанов. – Кто такие?

– Пяхота мы! – вскинулся маленький конопатенький солдатик с огромными оттопыренными ушами и в длинной, до земли, шинели.

– Пяхота! – передразнил Рубанов, с пренебрежением глядя на солдата. – Сам вижу, что пехтура, а какого полка?

– Дядя, какой мы полк?.. Опять позабыл, – сконфузился солдатик, растерянно оглянувшись на седоусого пожилого капрала, в одной белой рубахе сидевшего у костра.

Тот не спеша поднялся, неловко выронив ложку из крепких рук.

– Шастой пехотный полк его ампиракторского величества, – доложил он, недоброжелательно глядя на приезжих офицеров: «Шляются, бездельники, и поесть не дают».

К гусарам подошел пехотный капитан и тихо поздоровался.

– Господа, милости прошу к шалашу, – кивнул куда-то в темноту, стараясь скрыть раздражение от дождя, грязи и непрошенных гостей.

Рубанов, почувствовав его настроение, обиделся, и неожиданно в нем разыгралось чувство гордости за себя и свой кавалерийский полк. С пренебрежением, свойственным щеголеватым гусарам и коннице вообще, к другим родам войск, он с язвительной учтивостью отказался, в придачу понизив капитана в звании.

– Извините, господин поручик, и благодарю за столь щедро предлагаемый ужин, но мы спешим-с. – Поворачивая коня, брызнул грязью в пехотинцев.

«В мое бы вас подчинение, – уходя к себе в палатку, мечтал пехотный капитан, – с вас бы быстро спесь сошла после нескольких пеших переходов, а то важные какие! Я тоже офицер и дворянин...» – Сел на необструганный пенек и зябко запахнул сырую шинель. Вода, скопившаяся в центре намокшей палатки, по капельке просачивалась внутрь и попадала на ящик, заменявший стол.

– Сенька! Подавай ужинать, – притопнув сапогом по перемешанной с соломой грязи, закричал денщику.

– Право, это смешно, ротмистр, – с усталой укоризной выговаривал Голицын.

– Совершенно с вами согласен, князь, но как эту пехоту не уесть... ставят из себя черт знает что. Царица полей! Посадить бы их на коней, то-то хороши бы были. Откуда мы, дядя? – вспомнил молодого солдата и рассмеялся. – Пскопские мы! – развеселился сам и рассмешил князя Рубанов. – Пяхота, одним словом!

Вокруг них носились солдаты шестого пехотного – кто с охапкой дров, кто с котелком, кто в шинели, кто в одной рубахе. Лагерная жизнь текла своим чередом.

Рубанов, как недавно его поручик, с наслаждением втянул в себя дым костров.

– Красота! – с удовольствием разглядывал эту суету.

В одном месте солдаты, радостно крестясь, опрокидывали в рот порцию водки и, блаженно жмурясь, закусывали кашей.

«Как мои там? – забеспокоился ротмистр. – Привезли чего-нибудь или нет? Да конечно, привезли... гусары все-таки!»

Этот балаган, на военном языке именуемый лагерем или биваком, неожиданно успокоил его, вернул утраченное за дни отступлений хорошее настроение.

– Позже съезжу, перед капитаном извинюсь! – неожиданно вслух решил он. – Приглашу в карты поиграть или цыган послушать...

А дождь все лил и лил.

«Зря плащ не взял», – поежился Рубанов.

– Князь! А вы заметили, что дожди здесь необычайно противны?.. Я полагаю, что такие дожди идут только в Австрии. В России дожди благородные, – развивал он понравившуюся тему по дороге к своим, – ...грибные, ягодные душистые... – закатил глаза, – словом, русские дожди... Помните, князь?

Голицын помнил... Казалось, недавно, вчера только, прощался с женой в дивном, благоухающем парке, разбитом рядом с барским домом в родовом имении. И ведь тоже шел дождь. Точно! Нежный, ласковый дождь. Или это слезы текли по лицу княгини Катерины?

Голицын вздохнул и вспомнил ее глаза – глубокие, словно омуты, и свое отражение в этих бездонных омутах... Увидел барский дом, парк и вновь ощутил радость от того, что эта стройная гибкая женщина любит его; и печаль – что предстоит разлука... И будто почувствовал, как тонкие руки ее ласкают его волосы и лицо, а губы целуют и не могут оторваться. «Вот в чем счастье!.. В любви, а не в войне!..»

– Но-о! – безжалостно вонзил он шпоры в конские бока и вскачь понесся к лагерю.

Рубанов, удивившись и забыв о непогоде, тоже пришпорил лошадь: «Меньше думать надо, от мыслей одно лишь беспокойство...», догнал друга у самых костров.

Лошади, прядая ушами и брызгая пеной с мундштуков, нервно и запаленно били копытами. Отдав вожжи коноводам, офицеры, будто ничего не случилось, прошли в командирскую палатку. Голицын доложил обстановку и сел к столу.

– Господин полковник, разрешите отлучиться, – приложил два пальца к виску Рубанов.

– Поешь сначала, – улыбнулся командир, уважительно глянув на ротмистра: «О солдате думает!» – Твой поручик докладывал о прибытии с фуражировки. Всё в порядке. И нам вот презент преподнес, – указал рукой на жарящегося на огне поросенка.

– Разрешите, Василий Михайлович, эскадрон наведу, – стоял на своем ротмистр.

– Ну идите, только быстро, – сглотнул слюну полковник, – а то мадера прокиснет, – водрузил на стол, радостно гогоча, грязную корзину с вином. – Хороший у тебя заместитель, заботливый. Заморим червячка, господа – и к цыганам, – разошелся он.

«Никогда наш командир не похудеет», – подумал, уходя из палатки, Рубанов.

Его эскадрон, разбившись на небольшие группки, ужинал у костров. Так же, как давеча пехота, гусары были одеты кто во что горазд – некоторые в рубахах, а другие накинули ментики или плащи.

Чтобы не уронить репутацию лихого рубаки и поднять боевой дух своих людей, Рубанов подходил к кострам, нарочито гремя шпорами и громко ругаясь. Увидев и услышав своего начальника, гусары заулыбались и начали вставать, чтобы поприветствовать командира.

Махнув рукой, Рубанов усадил их и отвел ужин из деревянной чашки, поданной каптенармусом.

– Прилично! – похвалил он дымящуюся кашу. – А главное, с куриной добавкой, – подмигнул заржавшим кавалеристам.

Горбоносый Алпатъев бежал к нему от офицерской палатки для доклада, загодя поднося два пальца к киверу.

– Молодец, молодец! – похвалил он поручика. – Славно расстарался, – похлопал по плечу зарумянившегося от удовольствия офицера.

– Аким Максимович, извольте отужинать с нами чем бог послал, – пригласил командира Алпатъев, скосив глаза в сторону цыганского табора.

– Извините, поручик, полковник ждет для важной беседы, – улыбнулся Рубанов.

Молодой офицер не смог остаться серьезным и ответил на улыбку, растянув детский еще рот от уха до уха.

– Надеюсь, поручик, скучать вы сегодня не будете? – уходя, засмеялся Рубанов, еще раз с любовью оглядывая свое отдыхающее воинство.

«Православное русское воинство! – с гордостью подумал он. – И какая разница – конница или пехота... – Пожал плечами, удивляясь, зачем вспылит на капитана. – Все мы русские люди, объединенные одной целью – выжить... И не просто выжить, а победить! И чем сильнее пружина сожмется, – вспомнил он горечь отступления, – тем сильнее ударит потом, разжавшись!»

Приблизительно в это же время дежурный штаб-офицер пропустил в «кабинет», роль которого выполняла маленькая беленая комнатуха в уютном домике под черепичной крышей, генерала Ромашова.

За столом сидел, устало вытянув ноги и подставив спину теплу, шедшему из камина, князь Багратион. Локтями он опирался на стол и, глядя на вошедшего узкими, тусклыми от постоянного недосыпания глазами, непроизвольно или, нервничая, сжимал и разжимал сухие крепкие кулаки.

– Ваше сиятельство, имею честь явиться...

Устало глядя на вошедшего, командующий молча указал рукой на свободный стул с мягким сиденьем и выгнутой спинкой.

– Садитесь, Владимир Платонович, – растягивая букву «р», гортанно произнес он, прерывая доклад Ромашова, и разгладил лицо сухими ладонями. – Как солдаты? Сыты, отдыхают? – но ответ не выслушал, снова перебив Ромашова, – другие мысли и заботы беспокоили князя. – Казачьи разъезды донесли, что неприятель рядом, – заскрипел зубами Багратион и медленно поднялся из-за стола, помахав вверх-вниз ладонью, предлагая генералу сидеть. – Михаил Илларионович, – запутался он в буквах «л», – собирается завтра отходить на новые позиции, – голос князя стал тверд и звонок. Убрав руки за спину, он размеренно ходил на небольшом свободном пространстве комнаты. – Вам, генерал, – опять усадил сделавшего попытку встать Ромашова, – надлежит назначить в своей бригаде арьергард из пехотного полка, артиллерийской батареи и эскадрона конницы. Объясните людям, что задание опасное, но героев ждут награды, а вам, за удачную операцию – Владимир 2-й степени.

На этот раз он не сумел заставить Ромашова сидеть.

– В-а-а-аше сиятельство!.. – приложил руку к груди генерал. – Не извольте сомневаться, задержим врага. Так и передайте Кутузову... генерал Ромашов, мол, крови не пожалеет за государя императора!

Багратиону все же удалось усадить и заставить замолчать расчувствовавшегося Ромашова. – Да я!.. – снова начал было генерал, но князь строго поглядел на него ясными уже глазами. Сна в них как не бывало.

– Соболаговолите дослушать! – недовольно продолжил он. – Арьергарду сражаться до вечера, затем отходить к мосту и после переправы взорвать его. Сражаться до вечера! Слышите? До ве-че-р-р-ра! – по слогам произнес он, округлив глаза и остановившись перед Ромашовым. – До вечера... – устало повторил и тяжело не столько сел, сколько рухнул в жалобно заскрипевшее кресло. – Свободны, генерал, – вызвал он штаб-офицера. – Не забудьте – последние взрывают мост!.. – не сказал, а скорее, прошептал командуящий.

«Славно! Славно! – спешил в бригаду Ромашов. – Владимира 2-й степени высочайше пожалуют! – прикидывал место для звезды на мундире. – Вот славно-то, – высунувшись из коляски, сплюнул, чтоб не сглазить. – Быстрее, болван, ткнул в спину солдата-кучера».

У цыганских костров, освещавших сумрак ночи, разгоняя мрак и неизвестность в офицерских душах, плясали юные цыганки. Собрались здесь лишь свои, гусарские офицеры. Сунулся было артиллерийский капитан, базировавшийся на горе, но его посчитали слишком серым и скучным и отправили укреплять люнет.

У цыган оказалось много вина, которое они продавали втридорога. Офицеры платили не скупясь. Аким Рубанов, положив потертую ташку на колени, часто запускал в нее руку, представляя, что лезет за пазуху к молодой, красивой и гибкой цыганке в красной юбке, которая била в бубен, томно изгибаясь под тягучую музыку, и громко, с надрывом и будоражащей кровь хрипотцой, пела на непонятном языке близкую русскому человеку песню. Рубанов, вытаскивая мятые рубли, с трудом поднимался и одаривал женщин. Еще три цыганки грациозно скользили босыми ногами по ковру, брошенному на сырую землю. Два низкорослых толстых цыгана сопровождали им на гитаре и скрипке.

– Жги, жги! – подпрыгивал на седле полковник и старался щелкать пальцами в такт мелодии.

Дальше, за ковром, заменявшим подмости, горел огромный костер, норотивший застлать дымом пляшущих цыганок в тот момент, когда они становились напротив огня и сквозь просвечивающую материю офицеры могли видеть их тонкие, стройные ноги.

Седло, на котором сидел Алпатъев, одной стороной опиралось на камень и от этого качалось взад и вперед, – но увлекшемуся поручику было лень передвинуть его... «Во-первых, можно пропустить что-нибудь этакое... Во-вторых, дает эффект скачки!» – рассуждал он, заваливаясь назад и выливая на ментик с когда-то золотыми шнурами полстакана вина. У ног Голи-

цына стоял полупустой кувшин с виноградным вином, из которого он часто наполнял стакан. Князь молча, без пьяных криков, наслаждался грациозностью движений цыганок, их пластичной гибкостью, полной неги и очарования, манящим полетом рук и зовущими голосами. Одна из танцовщиц чаще других подходила к тому краю ковра, у которого он сидел. Цыганка кружилась перед ним, распуская веер из юбок, временами наклонялась спиной к земле, в такт музыке подрагивая плечами и падая коленями на ковер, с очаровательной хрипотцой в голосе пела томную песню, иногда замирая в экстазе танца, а то взрывалась, в бешеном темпе срываясь с места. Черные влажные глаза ее не отрывались от князя, а маленькие девичьи грудки нежно подрагивали от резких движений. Голицын лишь слегка, уголком рта, улыбнулся ей и швырнул на ковер горсть серебряных монет. Его печальные глаза чуть потеплели от жара цыганского костра, вина и песен.

– Господа офицеры! – заорал, подняв наполненный стакан, полковник. – За женщин и любовь, господа. – Одним махом опорожнил стакан.

Порыв ветра на минуту накрыл дымом плясуний и зрителей. Офицеры зажмурились и заслонились руками, один Алпатьев, мужественно раскачиваясь в седле, слезящимися глазами не отрываясь следил за юными ногами, вздымавшими юбки. Все цыганки, кроме танцующей для Голицына, по совету вождя, несмотря на холод, оставили лишь по одной юбке. Самая стройная из них, встав напротив Рубанова, била в бубен и плавно поводила бедрами, ноги и плечи ее при этом оставались спокойными. Огонь так освещал плясунью, что она казалась раздетой. Офицеры замерли в восхищении.

Мелко вздрагивая плечами, то ли от холода, то ли в ритме танца, цыганка стала клониться и встала на колени. Длинные черные волосы закрыли ее лицо. Плечи затряслись сильнее, а торс прогибался назад до тех пор, пока затылок не коснулся ковра. Женщина застыла в этом положении, лишь чуть трепетала и вздрагивала ее грудь. Рубанову даже казалось, что он чувствовал тепло, исходящее от женщины, и запах разгоряченного тела. Не утерпев, возбужденный хмелем, танцами и плясуньей, под рукоплесканья товарищей, он упал перед ней на колени, и рука с ассигнациями проникла за декольте, ощутив божественную, такую податливую нежную и мягкую плоть. Женщина вздрогнула от неожиданности и стала медленно выпрямляться. И, стоя друг перед другом на коленях, они обнялись, при этом Аким сорвал такой душистый и страстный поцелуй пылающих алых губ, что у него самого затряслись плечи и, как у мальчишки, закружилась голова...

Закружилась она, видно, и у Алпатьева, потому как с криком «Чавелла!» он резко, вместе с седлом, накренился вперед, а затем плавно врезался носом в землю и в ту же секунду заснул, не выпуская пустой стакан и почмокивая губами. Восторгу офицеров не было границ. Даже Рубанов, на время забыв о цыганке, принялся поднимать поручика.

– Слава Богу! – перекрестился он под хохот друзей. – Багратионовский нос не пострадал!

– Господа! – достав пистолет, полковник выстрелил в воздух, дабы привлечь внимание. – Именно хочу сказать вам, господа... Окажите любезность, давайте выпьем, – язык уже плохо повиновался ему, – за любовь, господа...

Пистолет у полковника отобрали и, пока он не повторил опыт своего подчиненного, тоже унесли в шатер и положили рядом с Алпатьевым. Опять хлынул дождь. Огонь зашипел, и костер начал нещадно дымить. Ветер играл одеждой женщин.

– Дамы! Не держите юбки руками, – смеялся Рубанов.

Дамам, однако, стало не до шуток. Они посерели от холода, а кожа их покрылась мурашками.

– Ух ты, моя шершавенькая! – потащил Аким слабо сопротивляющуюся цыганку не в шатер, а в свою палатку, без конца целуя ее в смуглую шею. «Зачем я буду кормить голубой кровью цыганских тощих клопов? – рассуждал он, не отрываясь от женщины. – Пусть попляшут голодными, а мои родные армейские клопики заслужили отведать сладкую цыганочку...»

– Лучше всего любитися перед боем в армейской палатке, – разъяснил он подружке, – а не в побитом молью шатре.

Но любить этой ночью ему не пришлось.

Генеральский вестовой на взмыленном коне остановился как раз перед палаткой Рубанова и, завистливо глядя на него и цыганку, во все горло завопил, зловредно выпучив глаза: – Полковника – к генералу!..

– Чего орешь? – отпустил цыганку Аким и смачно икнул. – Занят полковник. Рекогносцировку проводит, – обняв цыганку, хотел проникнуть в палатку, но вестовой загородил вход конем.

– Господин ротмистр! – значительно произнес он, напоминая тоном командира бригады. – Генерал Ромашов получил приказ лично от Багратиона! – Ноздри его жадно затрепетали, уловив запах вина от Рубанова и греха – от цыганки...

В штабе генерал-майора Ромашова, кроме него самого, находился пехотный полковник – седенький старичок в мятом мундире, капитан, которого прогнали укреплять позицию гусары, и пьяный вдрызг Василий Михайлович, которого с трудом доставил к генералу Рубанов.

– Какая мерзость, – завидовал пьяному гусару пехотный полковник. – А у меня язва... – объяснил он Ромашову.

Но генерал плевал на полковничью язву и даже на то, что другой полковник был вдрызг пьян. Орден!!! – вот что интересовало его. «Этот пьянчуга ничего не поймет! Скверно... Так и награду можно потерять. Ну ничего, я его потом поздравлю», – начал раздражаться генерал.

– Позвать сюда сопровождающего! – приказал он вошедшему штаб-офицеру, кивнув на осоловелого гусара, старательно тарасившего глаза и пытавшегося понять, куда подевались цыгане и что он тут делает.

Вошел Рубанов и доложил генералу. Полковник хотел ему что-то сказать про цыган, но уронил тяжелую голову на грудь и громко захрапел, с трудом удерживаясь на стуле. Узнав нахала-ротмистра, Ромашов заиграл желваками: «Его-то и оставлю в арьергарде, – решил он. – Пусть французу погрубит», – повеселел генерал.

– Ротмистр! – строго сдвинул брови Ромашов. – Ежели хотите, чтобы для вашего командира сегодняшней курьез остался без последствий, – он значительно замолчал, дав время Рубанову поразмышлять над ситуацией, – вам надлежит со своим эскадром проявить чудеса героизма! – торжественно поднялся из-за стола. – За удачное проведение батальной операции вас всех ждут награды...

У Ромашова ужасно зачесалась грудь в том месте, где должен сиять «Владимир».

«К добру, явно к добру! – незаметно постучал сжатым кулаком по столу. Настроение его стало прекрасным. – Вот был бы подарок к пятидесятилетию!»

– Господа, – прошу вас к карте, – оторвавшись от приятных мечтаний, предложил присутствующим. – Ах да! – отвлекся от карты генерал. – Суть заключается в том, чтобы до завтрашнего вечера задержать неприятеля. Приказ самого князя Багратиона! – важно кивнул на потолок. – Князь надеется на нас... А вечером спокойно переходите через мост, взрывайте его, присоединяйтесь к войскам и получайте награды... Все просто!.. – путался мыслями Ромашов.

Уже ранним утром, не спеша, легкой рысцой, двигались к своему полку гусары. К ним в компанию навязался и артиллерийский капитан.

– Не извольте беспокоиться, господа... – приятным баритоном вещал капитан, – до вечера продержаться – раз плюнуть, – неумело подпрыгивал он на лошади.

«Мешок с мукой! Вдохновлять еще вздумал, – злился Рубанов. – Какую цыганочку упустил, – скорбно вздыхал он. – Ну, держитесь, господа-французы, этого я вам не прощу!»

Полковник уже прочухался и удивленно крутил головой.

– Где это мы? – спросил недоуменно. – И куда подевался табор?

Артиллерийский капитан радостно хихикнул, а Рубанов тяжело вздохнул.

– И правда, господа, как закончился вечер? – подавляя в себе обиду, зловредно поинтересовался капитан. – На всех ли хватило женщин? – радостным баритоном язвил он, догадываясь, что у гусаров ничего не вышло.

– Гениальный оратор и стратег, – переменял неприятную тему Рубанов, вспоминая генерала, – все у них с капитаном легко и просто, – недобро покосился на артиллериста.

Рассветало. Рваные тучи, заслонявшие голубизну неба, медленно и неохотно рассеивались, пропуская сквозь свои серые спины первые утренние лучи.

– Слава Богу, хоть дождь прекратился, – жужжал артиллерист, – с такой-то видимостью я из пушки французу в лоб за полверсты попаду! – хвастал он, напряжинивая ноги в стремях и стараясь не прыгать в седле.

«Ага! – заметив это, воодушевился Рубанов. – Уже мозоли на заднице натер!» – порадовался за капиташу.

Полковник, хмуря лоб, мрачно изучал пакет с диспозицией.

– Значит, опять отходить? Скверно! Только привыкли... А ваш эскадрон остается?! – прочел до конца план и обернулся к Рубанову. – Счастливчик вы, батенька... Владимира с бантом, а то и Георгия, считайте, уже получили. А славно ночь провели! – хватаясь за больную голову, подытожил Василий Михайлович. – Право, Рубанов, приглашайте меня почаще на такие божественные церемонии... Нет, нет, – замахал он рукой на пожелавшего что-то сказать товарища. – Я не про генерала говорю!

Грязная дорога постепенно загромождалась повозками и пехотными батальонами. Армия отступала! Офицеры съехали с дороги на целину и молча смотрели на толпы не выпавших солдат, цеплявшихся ружьями, ранцами и беззлобно материвших друг друга. Следом пошла и артиллерия. На невысоком подъеме, по колено проваливаясь в грязь, солдаты на руках вытаскивали пушки, помогая лошадям.

– Ну вот, не успели подвертки просушить, как опять отступаем! – собирались в поход и гусары.

Сбросивший хмель полковник, надрывая горло, руководил отходом. Особенно доставалось от него вахмистрам и каптенармусам.

– Смотрите чего не забудьте, черти! – грозил кулаком Василий Михайлович. – Собственноручно палкой выдеру...

Вахмистры орали на рядовых, иногда пуская в ход кулаки. Лишь рубановский эскадрон никуда не спешил. Гусары от души веселились, наблюдая за сборами своих товарищей.

– Антипка! – ржал высокий красивый гусар, обращая внимание стоявшего рядом с ним коренастого плотного усача на тощего гусара, тащившего ранец. – Поди цыганку из повозки вытащить забыл?!

– Он ее замест амуниции в ранец запихал! – поддержал шутку коренастый. – Во, во! – толкал уже высокого и указывал ему на тащившего длинно скатанную палатку белобрысого и скуластого парня.

– Гришака! – аж захлебнулся от восторга красивый гусар. – Собака такой! Куда девку поволок?..

Белобрысый волком глянул на них и, пыхтя, зашвырнул ношу на фуру.

– Убьешь бабу! – хохотали приятели. – Вахмистр! – попытались прицепиться к пробежавшему мимо краснорожему мордастому гусару.

Но тот покрыл их таким отборным и красочным матом, что даже привыкшие ко всему лошади чуть не попадали в обморок...

Скрываясь от этого хаоса, Рубанов решил подняться на пологую, невысокую гору, скорее даже, холм, к артиллерийскому капитану. На батарее царил порядок, что выгодно отличало подразделение от суматохи, творившейся внизу.

Четыре пушки строго глядели стволами в сторону предполагаемого неприятеля. Вдоль орудий монотонно ходил аккуратный одетый часовой с ружьём на плече. Увидев постороннего, он взял на изготовление оружие и перегородил проход.

– Не положено, ваше высокоблагородие.

Солдат понравился Рубанову своей обстоятельностью и серьезным отношением к службе. Подбородок его был чисто выбрит, усы и волосы подстрижены.

– Ну, коль не положено, так вызови, братец, командира, – благодушно сказал Рубанов.

Капитан давно уже заметил гусара, но потянул время, сидя в палатке: «Пусть маленько понервничает», – решил он.

Насладившись маленькой мстостью, наконец вышел, дав знак часовому нести службу дальше.

– Хороший солдат! – похвалил Рубанов артиллериста. – Такого можно даже в гусары зачислить! – Что, по его мнению, являлось высшей похвалой.

– Да он и не пойдёт! – обиделся капитан за свой род войск. – Эка невидаль – на кобыле трястись да железякой махать!.. А спроси твоего гусара, сколько будет два прибавить три, так у него башка лопнет, а все равно не скажет...

– Ежели не скажет, так в капусту изрубит, дабы не повадно было всякие глупости спрашивать, – в свою очередь обиделся за кавалерию Рубанов и поглядел в сторону равномерно ходившего часового, затем взгляд его остановился на ровной линии палаток, на аккуратной коновязи и на артиллеристах, у костров готовящих завтрак.

– Да, господин капитан, молодец вы, вон какой порядок навели!

Капитан зарделся от удовольствия и сразу почувствовал к ротмистру глубокую привязанность..

– Хотите на противника поглядеть? – протянул он подзорную трубу. – Глядите вон туда, в сторону деревни, – указал капитан.

С батареи видно было как на ладони соседнюю деревню и копошившихся в ней солдат. Казачий разъезд скакал от деревни в расположение русских войск. На таком расстоянии казалось, что они еле плетутся.

– Неужели французы? – не мог поверить Рубанов.

Справа от деревни он увидел пушки, грозно нацеленные прямо на него.

– Капитан! А вон и ваши коллеги, – рассматривал он позицию врага и хищно оскалился, когда разглядел скачущую французскую конницу. «То ли уланы, то ли кирасиры – разберемся, когда рубить начнем! – Перевел трубу на расположение русских войск. Гусары уже строились. – Надо пойти проститься», – подумал он.

– Пойду вниз спущусь. – Отдал подзорную трубу капитану. – Увидимся еще.

– Ну, прощевай, Рубанов! – тряс его руку Василий Михайлович. – До завтра. Погуляем еще с цыганами...

Голицын молча обнял друга, отстранившись, произнёс:

– Ты, Рубанов, не опаздывай. Завтра вечером фараон⁵ заложим. Отыгаться хочу, – хлопнул его в плечо ладонью и, четко повернувшись кругом и придерживая ножны сабли, пошел к своему эскадрону.

«Деньжонки не помешают! – прикидывал Аким. – А то здорово на цыган поистратился и, главное, без толку... – опять расстроился он. О таборе напоминала лишь зола от костра...

⁵ Карточная игра.

Оставшаяся русская пехота уже копала траншеи. – Готовится полковник, один я только без дела болтаюсь».

Его гусары стали серьезны и молча глядели на командира.

– Алпатьев! – позвал своего заместителя. – Веди людей за возвышенность, здесь окопы станут рыть, а один взвод двинь вперед, во фланкерскую цепь.

До обеда стояла тишина. Французы разложили костры, пили чай и завтракали. Рубанов приказал готовить обед, а сам снова поднялся к артиллерийскому капитану. В полдень он увидел в подзорную трубу, что французы засуетились и стали строиться. В ту же минуту вдалеке различил, как из жерла пушки выплыл плотный шар белесого дыма. Очертания его постепенно расплывались. Звук он не услышал, однако заметил разрыв гранаты неподалеку от пехоты. Небольшой неприятельский отряд, вытянувшись в цепь, пошел в сторону русских. Следом за первым из соседней пушки выпорхнул второй клубок дыма. На этот раз Рубанов расслышал звук выстрела, или ему так показалось от волнения.

– Началось!.. – облизнул пересохшие губы.

– Прислуга – к орудиям! – хриплым голосом скомандовал капитан, забрав у Рубанова трубу.

Артиллеристы четко выполнили команду и зарядили орудие.

– Первое! – послышалась команда капитана, и оглушительный щелчок на минуту заложил уши.

Ядро немного не долетело до неприятельской цепи.

– Картечью! – услышал, спускаясь вниз, Рубанов и вслед за звоном выстрела увидел дым, накрывший часть вражеской цепи, и взрыв на месте падения заряда.

Несколько вражеских солдат упали, но цепь, как хорошо заведенный и отлаженный механизм, продолжала двигаться дальше. Уже невооруженным глазом Аким разглядел фигурки в синих шинелях.

– Сейчас, братцы, будет потеха! – подошел он к своим. – На конь! – отдал команду.

Фланкеры, наблюдавшие за действиями неприятеля, доложили о наступлении противника и влились в готовый к бою эскадрон. Из неглубоких русских окопов раздались сначала одиночные, а затем частые выстрелы, перешедшие постепенно в сплошной треск. Перекаты выстрелов шли и от французской цепи. Выглянуло солнце, осветив противоборствующие стороны, и заискрилось на вычищенных штыках, готовых вспарывать податливую живую плоть. Дымы от выстрелов закрыли вражескую цепь. Гусары пока не вступали в дело. Солдаты и офицеры эскадрона, старательно скрывая тревогу, говорили о чем угодно, только не о предстоящем сражении. Несколько ядер, шипя, упали и взорвались под горой. Люди нервничали, глядя вперед, вслушивались в звуки выстрелов и ждали команду – в атаку!

Рубанов с веселой притворной улыбкой для поднятия боевого духа гарцевал на коне впереди эскадрона. Несколько пуль просвистели над его головой. Молодцевато пригладив небольшие мягкие усики, широко разевая рот, он смачно, в голос, зевнул и вытер тыльной стороной ладони глаза. Видя, что их командир спокоен и даже зевает, гусары расслабились и повеселели.

Неожиданно из-за дыма вылетел вестовой со счастливым закопченным лицом.

– Господин ротмистр! – звонкий голос его сломался и дал петуха, но в это время рывкнула над головой русская пушка.

Прапорщик, покраснев, огляделся по сторонам, но, заметив, что никто за шумом выстрела не расслышал петушка, успокоился и, стараясь выглядеть самоуверенным, выдавшим виды офицером, ловко, с шиком, отдав честь, доложил, что на фланге пехотного полка заметили вражескую конницу и господин полковник просит секурсу.⁶ Сколько там конницы и кто они – уланы или кирасиры – он не знал.

⁶ Помощь.

Рубанов поблагодарил прапорщика, покровительственно улыбнулся ему и велел передать его высокоблагородию, что сейчас они будут и на месте разберутся. Легкой рысью эскадрон двинулся к флангу пехотного полка и немного опоздал... Примерно два вражеских эскадрона – это были уланы, гонялись за русскими пехотинцами, не успевшими построиться в каре.

– Сабли к бою! – И эскадрон свалился на голову не ожидавшему и не видевшему его за горой неприятелю.

Конь под Рубановым споткнулся и чуть не выбросил из седла седока. Тут же, крикнув и выкатив от напряжения глаза, Аким искусным ударом развалил надвое растерявшегося улана. Гикнув и на секунду покрутив головой по сторонам, – видел ли кто его удар из своих – погнался за следующим уланом и свалил его выстрелом из пистолета.

Воспользовавшись неожиданностью нападения, гусары в порыве ненависти яростно рубили французов. Те уже не думали о нападении, а мечтали только спастись, вырваться от этих страшных русских.

Воспрянувшая духом пехота, дико крича «У-р-р-а!», взяла в штыки неприятеля и гонялась за синими мундирами с таким же азартом и остервенением, как недавно их самих преследовали уланы.

Французы отступали! Сверху по ним удачно били картечью наши артиллеристы.

– Вот это мы им показали кузькину мать! – бросив саблю в ножны и часто и глубоко дыша, произнес Алпатьев. – До самого Парижа драпать будут, – радовался он победе и тому, что жив и даже не ранен.

– Пусть еще раз сунутся, руки-то укоротим! – поддержал его красивый гусар, тешившийся недавно над отступающими товарищами. – Я как дал одному! – стал хвастать он перед своим коренастым другом, перевязывающим руку. – Так и разрубил напополам...

– Ага! – болезненно морщился тот. – И его задница поскакала жаловаться Бонапарту...

– Да не-е, – растерялся красивый, – я и коня разрубил, – понес он явную чушь, развеселив раненого друга. У того даже руку перестало ломить.

– И коня, и седока? – изгалялся над приятелем. – И сабля по самый эфес в землю ушла, еле выдернул, да?

Плюнув, высокий красавец отъехал и начал хвалиться другому.

– Черт-дьявол! – озабоченно всматривался в неприятельские позиции Рубанов. – Да тут вся их армия собралась, что ли? Тяжеленько нам придется...

– Аким Максимович, – раздухарился Алпатьев подъезжая к командиру, – мы тут не то что до вечера, неделю стоять сможем! – оживленно улыбался он.

– Неделю? – изумленно изогнул бровь Рубанов. – А почему не месяц? Отведите раненых к лагерю и позаботьтесь, чтобы перевязали. Поешьте сами и накормите людей, вместо того чтобы всякую ерунду болтать, – неизвестно отчего вспылил он.

Алпатьев, засопев, поник головой, уткнув нос в землю: «Зря я его обидел», – укорил себя Рубанов.

– Извините, поручик! Не хотел вас, право, оскорбить, – учтиво склонил он голову.

Долго дуться на обожаемого командира Алпатьев не мог.

– Эффектно вы, Аким Максимович, того француза! – уважительно глядя на ротмистра, произнес, отъезжая выполнять приказ, Алпатьев.

Похвала вернула Рубанову бодрость и уверенность: «Да что это я затосковал? – скептически улыбнулся он. – Француз бежит, мы победили, а всякие предчувствия в сторону. Негоже гусару, словно дуре-бабе, в приметы верить. Мало ли что конь в атаке споткнулся! Чего-то испугалось животное, а может, в нору копыто провалилось, – успокаивал себя. – Повоюем еще во славу русского оружия!» – расправил плечи и, завидев пехотного полковника, дернул узду, направляясь ему навстречу.

– Можете себе представить, ротмистр! – издали кричал довольный полковник. – Думал, что вы не успеете, – благодарно потряс он руку Рубанову, подхехав к нему вплотную. – И откуда они взялись? – недоуменно пожал плечами. – Не успели заметить, как они тут как тут, – нервно частил, вытирая трясущейся рукой слезящиеся глаза. – Надо в отставку... Не для моих летов такие страсти терпеть! Ежели бы не ваши гусары, ротмистр... не сладко бы нам пришлось!

«Захвалили, сглазят!..» – сплюнул через левое плечо Рубанов.

– Волос в рот попал, – оправдался перед полковником.

Генерал-майор Ромашов, сидя в кресле за столом, в подражание Багратиону, сжимал и разжимал жирные свои кулаки. Перед ним навтыжку стоял саперный майор и подобострастно «ел» глазами начальство. Насладившись властью, Ромашов разрешил ему сесть и погладил свои пушистые бакенбарды.

– Ну что, майор, армия переправилась?

– Никак нет, ваше превосходительство, – вскинулся майор, по знаку генерала снова усаживаясь на стул, – но, думаю, через пару часов перейдет на другой берег.

– Слушайте внимательно! – грозно, со значительностью в голосе, произнес генерал. – Стойте со своими саперами у моста и, как только переправа закончится, – уничтожьте его!

Сапер порывался что-то сказать, но не смел.

– Вы всё поняли, майор? – видя, что молчание затянулось и офицер мнетя, сухо, с металлом в голосе, переспросил Ромашов. – Приказ ясен?!

– Ваше превосходительство, – наконец решился майор, встав по стойке смирно, – я полагаю, что оставшийся на той стороне арьергард, задержав неприятеля, сам уничтожит мост!..

– Тебе не надо полагать! – прервал офицера Ромашов, сердито разглядывая несговорчивого сапера. – Нижним чином захотел походить?.. – стукнул он по столу кулаком. – Это тебе не я приказываю, а князь Багратион, – торжественно кивнул в потолок.

Майор пошел пятнами от волнения: «Черт меня дернул рассуждать, – ругал он себя. – Наше дело маленькое – выполнять команду...»

– Ваше превосходительство, вы меня не так поняли, – дрожащим голосом залепетал офицер. – Все будет сделано, не извольте беспокоиться, – лакейски согнул он спину.

– Так-то лучше! – успокоился Ромашов. – А то полагать вздумал...

Майор вдруг покрылся липким потом.

– Сделаешь все удачно, станешь подполковником. Лично ходатайствовать буду, – поднялся, закончив разговор, генерал.

«Седой уже, а Бога не боится! – выходя из кабинета, думал майор. – Но ничего, грех не на мне – на нем!..»

На поле боя опустился туман. Солнце, удовлетворив свое любопытство, занавесилось тучами. Стало влажно и зябко. В палатке полковника, как старшего по званию, шло совещание. Присутствовали Рубанов и артиллерийский капитан.

– Уже три часа пополудни, – как ребенок, радовался полковник, – везет так везет! Французы думают, что тут основные силы, а получив, в придачу, по носу, осторожничают и серьезно готовятся к делу, – на одном дыхании выпалил он. – Благодаря туману, – перекрестился полковник на угол палатки, – они и вовсе ничего не различат... Дабы ввести врага в заблуждение еще больше, предлагаю разделить на две части, – внимательно осмотрел присутствующих, следят ли они за ходом его мыслей. – Батарей, роту пехоты и пол-эскадрона оставим здесь, а остальными силами отступим на пару верст к мосту и займем оборону там... А то вдруг решат обойти с флангов, ежели дознаются, что нас тут мало?..

Рубанову предложение пришлось по душе. Он даже пожалел, что сам не додумался до этого.

Артиллерийский капитан стал сомневаться.

– А как потом я выведу пушки? Ведь нас непременно окружают...

– Да забудьте вы про свои пушки! – злился полковник. – Наша задача врага задержать, потом вывести людей через мост и взорвать его... А пушками придется пожертвовать!

– Да вы что?! – взвился капитан. – Я с подпоручиков с этими пушками воюю, они мне семью заменяют, а вы – пожертвовать... Буду сражаться, – решил он, – а там – как карта ляжет... Правильно, ротмистр? Так гусары говорят? – невесело засмеялся капитан.

Рубанов с уважением глянул на него и пожалел, что прогнал от цыган: «Какие к черту цыгане! – одернул себя. – Прямо помешался на них». Однако ему захотелось сделать что-нибудь приятное для этого немолодого уже офицера.

– Господа! – произнес он. – У меня осталось немного вина, давайте выпьем за удачу и пожмем друг другу руки... Вдруг больше не увидимся?

– Да полно вам, ротмистр, – вздохнул старичок полковник. Он-то точно знал, что это его последний бой...

Попрощавшись с полковником, Рубанов и капитан вышли из палатки. Гусар птицей взлетел в седло, в отличие от артиллериста, с трудом просунувшего ногу в стремя и долго подпрыгивавшего на другой... Наконец, приноровившись, он все же взгромоздился на свою смирную лошадь.

«Кобыла, полагаю, ему тоже досталась вместе с пушками в дни зелёной юности, – без насмешки, доброжелательно подумал Рубанов, разглядывая понуро бредущую клячу с задумчиво трясущейся нижней губой. – О чем, интересно, мечтают лошади? – стал отвлекать себя от предстоящего боя. – Эта старуха, – снова глянул на капитанскую кобылу, – о жеребце, конечно, не мечтает, – развеселился он. – Ей бы сенца посочнее да мерина поспокойней и поскучнее, – засмеялся ротмистр. – Боже, даже в рифму заговорил».

– Извините, капитан, кое-что смешное вспомнил, – отвел от себя подозрение, что умалишенный, любящего математическую точность и ясность артиллериста.

К себе офицеры ехали сквозь редкие ряды пехотного полка. Часть солдат уже получили приказ и готовились отходить на новые позиции. Неожиданно из тумана вынырнул солдатик, на ходу поудобнее прилаживая за спиной тяжелый ранец. Кони испуганно всхрапнули, шараясь в стороны. Капитан, выпустив поводья, балансировал руками, чтобы не упасть. Рубанов захотел огреть солдата плеткой, но узнал в этом «изверге» с огромными оттопыренными ушами старого знакомого.

– Эй, пяхота! – опустил руку с плеткой. – В шинели запутался, или ветер в паруса дует? – глянул на его лопухи. – Куда несешься?

– Виноват, ваше высокскародь! – вытянулся солдатик, с перепугу уронив ранец и не смея поднять его.

Капитан наконец вычислил центр тяжести и нашел точку опоры.

– Какого ты полка? – поинтересовался Рубанов, весело глядя на ушастого конопатого воина.

Солдатик от страха аж перестал дышать и в отчаянии оглянулся по сторонам.

– Дядю высматриваешь? – и вовсе развеселился ротмистр. – Опять полк забыл?

– Так точно, ваш бродь. Не идет в голову! – кротко ответил несчастный.

Рубанову стало его жаль.

– Ладно! Ступай, у дяди спроси, – отпустил маленького пехотинца.

– Нет больше дяди, – задрожал конопатым лицом новобранец, – убили его сегодня, – подняв ранец, утер рукавом шинели нос.

– Судьбу не обойдешь! – вздохнул капитан, глядя на загрустившего ротмистра. – Не придумали еще формулу, чтобы вычислить судьбу. А цыганкам-гадалкам и прорицателям я не верю. Жулики все они. Лишь Создателю дано видеть будущее, а не людям!

– Да вы, батенька, философ, – усмехнулся Рубанов, ловко спрыгивая с коня. – Приехали, слава Богу!

Медленно и осторожно, нащупывая ногой землю, спустился с облегченно вздохнувшей лошади и капитан, отдал поводья подбежавшему артиллерийскому унтеру.

– Ну что ж, ротмистр. Давайте прощаться, – стараясь выглядеть веселым, произнес он и полез в карман. – Хотя я и не верю в судьбу, но про вас говорят, что счастливчик, – протянул мятый конверт Рубанову. – Передайте моей матушке, пожалуйста... – хотел еще что-то сказать, но, махнув рукой, повернулся и не спеша пошел в гору, постепенно растворяясь в тумане...

Потом Рубанов не раз видел во сне спокойно шагавшего к небу русского капитана!

В четыре часа пополудни французская артиллерия, воспользовавшись туманом, почти вплотную выдвинулась к пустым русским окопам и полчаса в упор расстреливала их. Батальон пехоты и половинка эскадрона весело посмеивались, укрывшись за пригорком. Рубанов договорился с пехотным полковником, и гусары на время, помимо своих мушкетонов и карабинов, которых и было всего 16 на весь эскадрон, вооружились длинными солдатскими ружьями, тысячу раз обругав их за неудобство.

– Лучше бы у тебя промеж ног такой длины было бы! – прилаживаясь к ружью, высказывал красивый гусар пехотинцу.

– Эт что б я делал с таким огрызком? – разыгрывая возмущение, отбрехивался солдат, посмеиваясь над гусаром. – Низко не опускай ружжо-то, – скалясь, давал он совет, – а то штык в землю воткнется, а тебя как раз к хранцузу и забросит! – ловко увернулся служивый от своего собственного приклада. – Ну-ну! Полегши! – грозил кулаком гусару. – А то ща как лошадь пришпорю, узнаешь тогда!

– Ща по роже-то рязанской как схлопочешь – сам тогда узнаешь. Губищи-то, как у маво мерина станут... – беззлобно бурчал гусар.

Только закончилась артподготовка, как гусары, мчась во весь опор в тумане, палили из ружей и пистолетов в сторону врага, создавая впечатление многочисленной группировки. Расстреляв боезапас, вернулись на исходный рубеж к горе.

– Не война, а игра какая-то, – протянул солдату ружьё гусар, – бери свою пукалку, авось больше не понадобится.

Пехотинец, хмуря лоб, внимательно оглядел оружие.

– А это отколь царапина? – неумело корча ужас, вопрошал солдат. – Только стаканом затереть ее можно, меня ж фельдфебель убьет...

– Не успеет! – устало спрыгнул с коня гусар и мрачно стал вынимать из ножен саблю.

Солдат мигом исчез в толпе своих товарищей.

– Самого перешутили! – смеялся над красавцем Рубанов.

– Не знаю, как там у него в штанах, но язык отрастил длиннющий! – резко бросил саблю в ножны кавалерист.

Французская артиллерия еще с полчаса долбила пустые окопы, а заодно перенесла огонь и на русскую батарею. Капитан со своими подчиненными яростно отстреливался. Тут уже стало не до шуток. Не успели стихнуть французские пушки, как в атаку пошла пехота, а по флангам – конница.

Только теперь французы поняли, что их обманули. Изрытые ядрами окопы были пусты. В бешенстве пехота бросилась на штурм батареи, чтобы хоть как-то смыть позор. Остатки эскадрона, отстреливаясь через плечо, повели за собой лаву вражеских уланов, чтоб артиллеристам было чуток полегче. Туман рассеялся, и примерно в двух верстах Рубанов увидел построенную

в каре немногочисленную русскую пехоту. Солдаты пропустили свою кавалерию и дружным залпом остановили вражескую конницу. Погибших в эскадроне пока было немного.

– Порядок, господин ротмистр! – радостно доложил Алпатьев.

Отстреливаясь, четырехугольник пехоты стал отходить к реке. Рубанов вслушивался, но наша батарея больше не была. Сняв кивер, он перекрестился... В это время со стороны реки раздался оглушительный взрыв, и взметнулось пламя.

«Чего это они там? Бочки с порохом, что ли, взорвались? – увидел отсветы огня и сразу понял причину взрыва; понял, что его с гусарами, артиллерийского капитана и пехотного полковника кто-то обрек на смерть... Зачем лгали? Сказали бы сразу, что надо... кто б отказался, а так?.. – скрипел он зубами в бессильной ярости. – Жив буду – дознаюсь!» – сжимал кулаки.

Часть французской конницы, обойдя каре, понеслась на гусар.

– Отходим! – приказал Рубанов: «Только вот куда?» – подумал он.

Отбиваясь от напора превосходящих сил, отстреливаясь, остатки эскадрона вышли к реке. Мост догорал, нещадно дымя и роняя искры и головешки в холодную воду.

– Что же это, братцы, а? – чуть не плакал Алпатьев. – Зачем обманули?.. Не поверили, думали струсим?! А-а-а! – заорал он, подняв саблю и бросаясь в сторону врага.

– Прекратите истерику, поручик, – хотел остудить его пыл Рубанов, – вы не... – и тут увидел, как Алпатьев выронил саблю и медленно-медленно никнет к холке коня.

Конь, почувствовав, что его никто не направляет, остановился, и седок, заваливаясь на сторону, стал сползать на землю. Ослабшие пальцы пытались уцепиться за гриву, но сил в них уже не было... Рубанов смотрел в какой-то растерянности, как белые пальцы, безвольно путаясь в черной гриве, разжались и рука стала сначала тихо, а потом все быстрее съезжать с бархатистой холки... Он не успел подхватить тело... Когда подбежал, путаясь в ножнах и пиная ногой ташку, поручик лежал на спине, бессильно разбросав руки.

– Алпатьев, друг! – потряс его Рубанов. – Не умирай... не надо... – Попытался поднять его, но голова на тонкой мальчишеской шее запрокинулась назад. – Ну скажи что-нибудь, Алпатьев? – просил он поручика.

Озлобленный улан, подняв на дыбы огромного коня, занес уже саблю над склоненной головой русского гусара, но столько печали было в его взгляде и столько горечи в лице, что француз, осадив коня, тихо, шагом, отъехал от прощавшегося с товарищем русского.

Перекинув поручика поперек седла и ведя под уздцы двух лошадей, Рубанов направился к реке. Он успел заметить, что от его гусар почти никого не осталось, и лишь некоторые счастливики переправляются на другой, пустынный и безлюдный берег.

Он успел увидеть, как французские пушки в упор расстреливали картечью русский полк, и ему показалось даже, что увидел старичка полковника, прощально помахавшего ему.

Вскочив в седло, и почему-то не удивившись, что жив, он направил упрявившихся лошадей в воду и, не мигая, смотрел в какой-то прострации на легкую зыбь перед грудью коня, на брызги белой пены, пока сильный толчок в спину не затуманил сознание и не бросил его в глубокую, бездонную пропасть.

Барыня Ольга Николаевна, выпив на Святки домашнего вина, приготовленного старой мамкой, поддавалась на уговоры сына и решила-таки перебраться в санях по замерзшей Волге на другой берег, дабы помолиться в ромашовском храме и полюбоваться хоть со стороны на богатую барскую усадьбу. Свою лепту в желание барыни посетить Ромашовку внесла и старая Лукерья, всю неделю перед Святками хвалившая церковную службу, попа и саму ромашовскую церковь.

– Такая лепота, такая лепота... – подавая ли за столом, угощая ли закусками или вареньем, бормотала она. – Лики святых – строгие, стародавние – так и глядят на тебя со стен. А молитвы батюшка басовито чтет, сам важный такой, волосом черный, пузастый, аж дрожь

берет, как в полный голос «Верую!» затынет... Съезди, матушка, непременно съезди. Небось, надоело дома-то сидеть?! Я, старая, и то Агафону велела свозить меня...

– Маменька, ну давайте съездим?! – ныл барчук. – Или меня с нянькой пустите.

И вот мать с сыном, поскрипывая снежком, катили на санях морозным солнечным утром по замерзшей реке.

– Свят, свят, свят... – крестилась барыня, когда сани подпрыгивали на кочке из слежавшегося снега.

Колея на совесть была накатана рубановскими мужичками, ездившими в Ромашовку к кузнецу и в лабаз за мукой, но ими и коверкана... В Ромашовке, по дедовской еще традиции, которую грех нарушать, они всегда останавливались у кабака отведать ромашовской водочки... Вот на обратном-то пути и портили наезженную колею, пересекая сердешную поперек, выезжая из нее, при этом иногда даже переворачиваясь.

– Страсти-то какие, – приговаривала барыня, запахиваясь в старую лисью шубу. – Так и убиться недолго.

Сын ее, глубоко вдыхая морозный воздух, нетерпеливо вглядывался, щуря глаза от блестящего на солнце снега, в приближающееся село, огромную барскую усадьбу и каменную церковь с высокой колокольней, спрятавшуюся среди столетних лип. Гнедой рысак сноровисто бежал, покачивая крупом и постукивая подковами по снежному насту. От этого равномерного постукивания Ольга Николаевна успокоилась и даже задремала. Очнувшись она, когда сани накренились назад и успокаивающий стук копыт прекратился. Теперь гнедой, напрягаясь грудью, тащил сани по круто уходящей вверх дороге. Ольге Николаевне снова стало страшно: «Ну-ка перевернемся...» – вцепилась она в перекладину саней побелевшими пальцами.

– Агафон!.. – жалобно простонала барыня. – Ради Христа, поосторожнее ехай.

– Не бойсь, сударыня. Все сделаем в лучшем виде, – ухмылялся тот в бороду и, морща лоб, прикидывал, заглянуть али нет, пока барыня станет молиться, в знаменитый на весь уезд ромашовский кабак.

«Вчерась водка крепкая была, – хвалили мужики, – и жид не сильно обсчитывал... Традицию, конешна, опять же, не след нарушать... Ну там видно будет», – тряхнув головой решил он, взобравшись на крутой берег и пустив коня рысью.

Теперь, несмотря на ритмичный стук копыт, барыня не дремала, а во все глаза, как и ее сын, с любопытством оглядывалась вокруг: «Село, конечно, не Рубановке чета, – завистливо вздохнула Ольга Николаевна, – душ за тысячу наберется, это точно...»

Широкую улицу с крытыми соломой избами разнообразили несколько каменных строений, одно здание даже было двухэтажным. По улице сновала ребятня, норовя прицепиться к саням. У некоторых дворов стояли мужики, но были они гордые и шапку перед барыней не ломали – не велика персона!

– Максимушка, сынок, гляди не вывались, – беспокоилась Ольга Николаевна, когда тот, наклонившись, разжимал пальцы очередного озорника, вцепившегося в сани.

Один только Агафон, не обращая внимания на творившуюся круговерть, безразлично смотрел на конский круп, лишь на минуту оживившись и сморщив гармошкой лоб, когда проезжали мимо кабака.

У длинного ободранного кирпичного здания с обшарпанной вывеской «Лабаз» барыня велела остановиться и, взяв упиравшегося сына за руку, вошла внутрь. Стоявшие у входа двое мужиков в грязных армяках и три крестьянки в овчинных тулупах, на этот раз поклонились. Максим, обернувшись, чтобы не видела мать, показал им язык. Единственная агафоновская извилина раскалилась от раздумий – зайти или не зайти?.. Кабак был неподалеку, и Агафон плотоядно разглядывал заманчивые очертания... На его глазах дверь распахнулась, и с помощью чьей-то ноги в сапоге, на крыльцо вывалился расхристаный мужичонка в лаптях и драной рубахе. Почесав ушибленное место и покричав в закрытую дверь, – что именно, Агафон не рас-

слышал, он промахнулся и шагнул мимо ступеньки... Встав и отряхиваясь от снега, помянул такую-то матушку и, выписывая замысловатые вензеля, напоминавшие императорскую роспись, пошел вдоль улицы, хрипло загорланив: «Ба-р-р-ы-ня! Э-эх!.. Су-у-да-ры-ня-ба-ры-ня! Э-э-х!»

На этот раз Агафон услышал... и сомнения его отпали: «Конешна, зайтить! И чё это я?..» – перекрестился он.

Барыня с сыном, выйдя из лабаза и не увидев кучера, отправились в церковь пешком, благо, она была рядом. Помолившись, отдали пятиалтынный местному мужику, чтобы загрузил в сани лежавшего на снегу кучера.

– А что, барина в имении нет? – поинтересовалась помещица.

– Приехали, матушка. Ден этак пять назад приехали вместе с дочкой, – кряхтя под тяжестью Агафона, ответил мужик.

– Напился, свинья! – ругалась барыня. – Ну погоди! Ужо приедем домой!.. – многозначительно произнесла она.

Максим, в отличие от матери, сиял от удовольствия – гнедым-то теперь управлять ему. Громко чмокая губами и протяжно выкрикивая: «Н-о-о!», он, гордо подбоченясь, презрительно поглядывал на спящих у саней мальчишек.

– Маменька, а давайте через имение проедем? – предложил Максим. – Авось не укусят! – не слушая ответа, ударил вожжами коня и повернул в сторону барского парка.

Здесь барчук оказался не прав. Два огромных волкодава с громким лаем кинулись к саням, когда те проезжали мимо старого флигеля. За флигелем в глубине парка размещались хозяйственные службы.

«Должно, летом здесь красиво!» – любовалась барыня на пересечение четырех липовых аллей, сходящихся к большому кругу с мраморной статуей крылатого мальчика на гранитном пьедестале в центре.

– Вот привязались! – перетянул кнутом одну из собак Максим.

От неожиданности та поперхнулась и закашлялась, уткнув морду в снег и пуская слюну с длинного красного языка.

Второй волкодав сразу вспомнил об одном важном деле, подбежал к постаменту и поднял лапу...

– Маменька! – захлебнулся смехом барчук, показывая кнутовищем на подмоченный у памятника снег. – Барин мимо пойдет, подумает, что это мальчик Венус насикал!..

Ольге Николаевне неожиданно стало грустно: «Как красив этот белый дом с нарядными колоннами, – подумала она. – И главное, всё на месте! Ни одна не отвалилась... Ах, какая прелестная беседка над откосом Волги, живут же люди!»

– Максим, не говори глупости! – одернула в сердцах сына: «Совсем мальчишка от рук отбился: Венус, видите ли, насикал... – тьфу! Вдруг нас в дом пригласили бы? – размечталась она. – Да что я там в таком виде делать буду?! – поглядела на себя и на линияющий заячий тулупчик сына. – Они из Петербурга... Там театры посещали, балы», – со злобой пнула чего-то залопотавшего во сне Агафона.

От барского дома к ним навстречу, красиво выгибая спины, неслись несколько борзых. Почувствовав поддержку коллег, заживевшие волкодавы несколько раз негромко гавкнули для настройки голоса, а затем, от души подвывая, влились в толпу борзых, которые брезгливо отстранились от этих вшивых неучей, словно господа от холопов.

Максим опять покатился от хохота.

«Не к добру развеселился!» – недовольно покосилась на сына мать и подняла глаза на вышедшего из барского дома лакея, свистом подзывающего собак. Загнав их в дом, слуга стал махать руками.

«Будто нас, что ли, зовут? – вспыхнула Ольга Николаевна от мысли, что вдруг барин велел пригласить их в гости. – Святки все-таки».

– Маменька, нас приглашают! – подтвердил ее мысли сын и опять чему-то рассмеялся.

– Отчего ты, как дурачок, душа моя, все время хохочешь? – рассердилась она.

Максим обидчиво поджал губы.

– Веди себя в доме как следует, – поучала непутёвого отпрыска Ольга Николаевна, – поклонись когда надо, вежливое слово скажи, а не как этот олух, – кивнула на бесчувственного кучера: «Срам-то какой, Господи! И зачем здесь поехали?.. Все любопытство мое, вот грех-то великий, – вздохнула она. – Ежели день закончится благополучно, свечу поставлю... дорогую, восковую», – повернувшись в сторону церкви, пообещала барыня.

Сани остановились рядом с очищенными от снега гранитными ступенями. По краям вход украшали две мраморные резные чаши, наполненные чистым снегом. Максим даже рот открыл от такого великолепия и заскользил ногами, чуть не упав на широких ступенях лестницы. За тяжелой дубовой дверью с медной, блестящей на солнце ручкой их ждал седой огромный камердинер в напудренном парике. Поймав его строгий взгляд, Максим оробел. Мать, больно сжав его ладонь, тряхнула за руку.

– Веди себя достойно, – прошептала одними губами и тут же улыбнулась камердинеру.

Впустив их в дом, тот запер дверь и принял верхнюю одежду, брезгливо сморщившись, когда от него отвернулись. Не успела Ольга Николаевна расправить простенькое платье и причесать гребнем волосы, как услышала шаги и, подняв глаза, увидела спускавшегося по лестнице генерала в зеленом мундире с золотым шитьем на вороте и с каким-то орденом на груди.

– Неужели ближайшая соседка?! – напустив радость на лицо, воскликнул он, расставив приветственно руки в стороны.

«Высок, красив и импозантен!» – отметила Ольга Николаевна краем сознания, смущаясь своего вида и одновременно счастливо удивляясь неожиданному приглашению.

– Поклонись! Поклонись генералу, – легонько толкнула с любопытством глазевшего по сторонам сына.

– Окажите любезность, – радушно улыбался хозяин, – удостоите вниманием и откушайте хлеба-соли со своим соседом... – Подойдя ближе, он учтиво склонил голову и поцеловал руку госте. – Такие нимфы в этом медвежьем углу... Очень рад! Я, право, думал, что умру здесь от скуки, – еще раз приложился к понравившейся ручке и, отступив в сторону, пригласил гостей наверх, в апартаменты. – Я сам провожу! – отослал камердинера и тоже иронично улыбнулся, окинув взглядом приезжих, но тут же глаза его замаслились, оценив крепкий стан барыни, ее полные груди и белую шею: «Не дурна, – подумал он, – даже очень не дурна!..»

Несмотря на солнечный день, лестницу освещали оплывшие от движения воздуха и долгого горения свечи. Хозяин провел гостей через два зала, отделанных ампирной росписью и лепниной. Один зал был обставлен мебелью в стиле Людовика Четырнадцатого, украшенной золоченым орнаментом; другой – гнутой мебелью, обитой кретоном. Генерал вел их не спеша и наслаждался восторгом, так оживившим лицо госте: «Какие красотишки попадают в провинции...» – любовался полными нежными губами и вспыхивавшими от вида понравившейся фрески или картины глазами женщины.

Прошли розовую гостиную с крашеной мебелью прошлого века. Ольга Николаевна засмотрелась на изящную роспись стен и глубоко вздохнула, глядя на панно с розовыми, будто живыми цветами.

– Кажется, что только вчера сорвали, – обернувшись к хозяину, несмело улыбнулась ему.

«Мила, определенно мила», – тщеславно улыбнулся в ответ, но госте уже восторгалась следующей комнатой.

Максиму понравились фрески с изображением батальных сцен и оружие на стене: сабли, пистолы, секиры и луки.

– Молодой господин любит оружие! – заметил хозяин. – Весьма похвально, – щелкнул он пальцами, и из-за портьеры неслышно возник, тот же седой камердинер. – Проводи барина в детскую, – указал на Максима. – Будущему офицеру следует приучаться к обществу дам, – галантно взял под руку раскрасневшуюся помещицу, будто случайно задев локтем ее грудь: «Б-а-а! Ну очень... очень хороша!» – спустил свободной рукой бакенбарды и сколь возможно подобрал живот.

– Буду вам признателен, ежели не побрезгуете откусать чем богаты... И никаких возражений! – упредил что-то собравшуюся произнести женщину.

«Очень представительен и, должно быть, добр и порядочен... Как можно отказываться от приглашения?» – рассуждала она, краем глаза рассматривая кавалера.

Грудь ее вздымалась от окружающей роскоши и близости столь благородного мужчины, к тому же генерала.

Пропуская даму в столовую, он обхватил ее за талию и почувствовал нежный трепет под своей рукой.

– Мадам! Поздравляю вас с прошедшим Рождеством и наступающим Новым годом! – произнес тост генерал. – И за знакомство!..

Ольга Николаевна была очарована: «Вот это стол и сервировка! – обводила взглядом роскошную столовую, дворецкого с завернутой в салфетку бутылкой шампанского и от волнения часто облизывала уголки рта. – Как хорошо, что Бог направил нас мимо имения...»

– У вас прекрасный дом, генерал! – подняв бокал с шампанским, в свою очередь произнесла она. – Пью за дом и за хозяина...

Где-то в соседней комнате играли на клавикордах, А рядом неслышно ступали вышколенные официанты, меняя приборы и разливая вино.

– Как вы узнали, генерал, что мы ваши соседи? – отбросив робость, после шампанского поинтересовалась она.

Довольная, с хитрецей, улыбка расплылась по лицу хозяина.

– Что вы всё генерал да генерал! Меня зовут Владимир Платонович Ромашов... Именно хочу сказать вам, – продолжил он после небольшой паузы, по-прежнему хитро улыбаясь, – что знаю даже ваше имя...

Засмотревшись на вопросительно поднятую бровь и ямочки на щеках гостя, он случайно опрокинул бокал. Злобно обругал официанта, но тут же успокоился.

– Волшебное имя Ольга ни о чем вам не говорит? – принял от лакея другой бокал с шампанским. – Красивое имя должно принадлежать красивой женщине! – многозначительно произнес он, разглядывая сквозь наполненный бокал соседку.

– Вы дерзки, генерал, – покраснела от комплимента гостя, и кончик языка, как у змейки, быстро ударил по губам и скрылся.

– Владимир Платонович! – поправил он и, учтиво отодвинув кресло, повел даму в соседний зал, где звучала музыка. – Вы бы знали, как надоела уездная знать во главе с предводителем, – томно говорил он, заглядывая сверху в глубокое декольте, – эти каждодневные визиты, дабы засвидетельствовать почтение... Мы ведь живем вдвоем с дочкой, хозяйки нет, – многозначительно глянул на Ольгу Николаевну. – Тяжело одному, без матери, дочь растить, – вздохнул, усаживая гостью на диван и присаживаясь рядом.

Камердинер довел Максима до резной крашеной двери и постучал в нее согнутым толстым пальцем.

«Это и есть детская», – сообразил мальчик, прячась за спину дородного слуги, который, опустив руки по швам и почтительно согнув спину, стоял у входа.

Через секунду в комнате послышался визгливый собачий лай, и Максим услышал: «Войдите!», произнесенное приятным девичьим голосом.

«Черт-дьявол! – вспыхнул он. – Еще не хватало с девчонками возиться, и кругом эти дурацкие собаки...»

Камердинер открыл дверь.

– Сударыня, – угодливо произнес он, по возможности стараясь смягчить свой густой голос, – папенька изволили прислать вам гостя!

Максим вступил в комнату, и тотчас на него яростно бросился маленький шпиц: «Ногой, что ли, пнуть?!» – подумал он, услышав знакомый уже голосок:

– Зизи! На место! Нельзя!.. Но шпиц вдохновенно захлебывался лаем, вертясь у ног Максима.

Дверь за спиной захлопнулась.

«Дернул меня черт сюда приехать! – злился барчук. – Ежели хорошенько эту собачонку поддеть, до того дивана точно долетит».

– Зизишка! – топнула ногой девочка, и тут Максим разглядел ее: белокурая, тоненькая и гибкая в талии, она капризно поджала губки, и струсивший шпиц, поняв, что зарвался, нырнул под диван.

Огромными, с поволокой, зелеными глазищами, в которых, несмотря на возраст, уже светилося женское кокетство и очарование, она посмотрела на вошедшего и отвернулась, ничего не сказав, а затем села на диван, аккуратно расправив голубое изящное платьице в кружевах и воланах. Ее детские ножки не доставали до пола, и она болтала ими в воздухе. Шпиц, высунув мордочку, подхалимски лизнул ей щиколотку и тут же, радостно вертя хвостом, оказался на коленях у хозяйки. Девочка, поглаживая пушистую собачью спинку, молча глядела на вошедшего, на его сапоги и бедную одежду. Глаза ее, казалось, недоуменно вопрошали: и чего это папеньке пришло в голову послать к ней этого нищего мальчишку? Шпиц, в свою очередь, тоже укоризненно разглядывал постороннего, словно прочел давешние его мысли. Максим мялся у двери, не зная, куда деть руки, и беспрестанно одергивал куртку, застегивал и расстегивал пуговицы, наконец, спрятал их за спину: «Вредная, видать, мадамка! – сделал глубокомысленный вывод. – Вся в свою собачонку...»

Шпиц оскалил зубы, будто и на самом деле читал мысли.

«Черт-дьявол! Где мы, Рубановы, не пропадали... Чего это я перед девчонкой дрожу?» – подошел он к мягкому стулу с изогнутой спинкой и независимо уселся на него.

Девочка, тиская свою дурацкую пушистую собачонку, упрямо молчала. Максим побарабанил пальцами по коленям и сложил руки на груди, уставившись в стену.

– Фи! – первая не выдержала хозяйка. – Сели без приглашения, да еще и молчите, словно деревянный... Правда, Зизишка?

Шпиц высунул язычок, мысленно подписываясь под каждым словом хозяйки, и уставился на незваного гостя желтыми мрачными глазками: «Если куснуть, небось заорет» – словно говорили они.

– Г-м-м! – прочистил горло Максим.

Шпиц в ответ зарычал.

– Рубанов! – представился он. Немножко подумал и добавил: – С того берега!

Неожиданно девочка прыснула, зажав рот ладонью, попыталась сдержаться, но у нее явно ничего не получилось, и она принялась хохотать. Шпиц, пошевелив ушами, на всякий случай убрался под диван. «Чего, интересно, я сказал смешного?» – недоумевал Максим.

Отсмеявшись, девочка вытерла белоснежным батистовым платочком свои чудесные глаза и спрятала его за рукав платья.

– А как вас зовут, Рубанов с того берега? – поинтересовалась она, стряхнув что-то видимое только ей с подола платья.

«Язвит еще!» – Максим! – произнес он, нахмурившись: «Говорила мне нянька, что много смеяться не к добру... не верил! А ведь так и есть».

– Эта маленькая деревушка напротив – ваше поместье? – расправила девочка платье и поудобнее уселась, поджав ноги.

Максим уже было собрался нагрубить и уйти, но ее совсем не детские глаза заворжили его и пригвоздили к стулу. Руки опять стали лишними.

– В церковь с матушкой приехали, – неожиданно для себя заговорил он, – а кучер наш, Агафон, напился, как свинья, а я стал управлять и приехал сюда... вот...

Девочка, покраснев лицом, старалась справиться с душившимся ее смехом. Но совладала и серьезно спросила:

– А где ваша матушка? Агафона стережет?..

На этот раз даже ее прелестные глаза не смогли сдержать закипающий гнев, и Максим вскочил на ноги. Шпиц пулей вылетел из-под дивана и встал напротив, тоже наливаясь гневом и прикидывая, как ловчее броситься на врага.

Девочка поняла, что сказала лишнее, и гувернантка фрау Минцель ее бы не похвалила. Будто не заметив состояния Максима и не меняя позы, нежно улыбнувшись, она произнесла:

– А я – Мари, папенька зовет меня просто Машенькой, – улыбнулась одними глазами и пригласила: – Садитесь рядом, здесь вам будет удобнее.

Расстроенный шпиц, клацая зубами, залез под диван, оставив снаружи задние лапки и хвост, дабы не забывали о его присутствии.

Волна гнева ушла куда-то к потолку и там растворилась, растаяла, будто ее и не было. Дрожа ногами, Максим подошел и сел рядом с девочкой. На него пахло чем-то тонким и приятным: «От матери когда-то давно пахло точно так же», – вспомнил он.

Шпиц горестно заворчал.

– Молчи, Зизишка! – прикрикнула Мари. – А у меня нет мамы! Даже не помню ее...

«Бедненькая!» – пожалел Максим, разглядывая ее лицо, губы и барахтаясь в зеленых колodцах глаз...

– Вы не слушаете меня! – возмутилась девочка.

– Нет, что вы, сударыня! – важно произнес он, вспомнив, как обращался к ней лакей.

Несносная девчонка опять прыснула смехом.

– Моя нянька говорит, что много смеяться к слезам! – обиделся Максим, и тут они расхохотались вместе.

– Вы такой забавный! – сквозь смех произнесла она.

«Хорошо это или плохо, что забавный? – раздумывал он. – Раз смеется, наверное, хорошо!»

Шпиц, не выдержав одиночества, запрыгнул на диван и сел между ними, ревниво поглядывая на хозяйку.

– Мы так веселились на Рождество! – между тем рассказывала девочка. – Приехали гости, надарили столько подарков... Ряженые дворовые пели песни, и поздравляли, а какая была парадная обедня, жалко, вы не видели, – глаза ее сощурились от приятных воспоминаний, и Максим снова залюбовался ими, а она, забывшись, все говорила: – На следующий день во дворе перед домом крестьяне водили хороводы, плясали, играли в игры, а мы с папенькой веселились и бросали им деньги, впереди ведь еще Новый год... Вот славно-то! – захлопала она в ладоши от избытка чувств, превратившись в маленькую девочку, какой и была на самом деле.

«Года на два или три моложе меня», – определил Максим.

– А на Новый год непременно стану гадать, – захлебывалась словами Мари, выплескивая свои мысли и эмоции, рассказывая уже не гостю, а себе. – Я умею, правда-правда. И по зеркалу, и по воску, и других гаданий много знаю.

– А на кого хотите гадать? На жениха?!

– Фу! Вот еще! На жениха... нужен он мне. – А глаза ее так и сияли.

«Ясно, на жениха!» – с каким-то неизвестным доселе чувством то ли досады, то ли ревности подумал Максим, и зависть прокралась в его сердце и сжала его. Зависть к будущему богатому красавцу, который поведет под венец девушку с белокурыми душистыми волосами и прекрасными зелеными глазами. Сам не зная отчего, он расстроился: «Тьфу, ты! Лезет же дурь в башку».

Стук в дверь и противный голос камердинера прервал рассказ Мари, а гладкий чистый лоб ее недовольно нахмурился.

– Кто там еще? – другим, капризным голосом произнесла она и сразу стала какой-то отстраненной, далекой и чужой.

– За мной, наверное, пришли, – предположил Максим.

– Наверное, – подбежала к столу, открыла небольшой ларчик и что-то достала оттуда. – А это мой рождественский подарок, – встав на цыпочки, надела ему на шею тонкую золотую цепочку с маленьким золотым крестиком.

Максим зарделся от счастья, когда тонкие руки обхватили шею и он уловил запах волос и весь ее детский запах чистоты и свежести.

– Мари, – строго произнесла вошедшая вслед за камердинером немка, поднося к глазу лорнет. – Фрейлейн Мари, так не следовало вести себя...

– А мне нечего подарить тебе, – не слушая гувернантку, расстроено произнес Максим. – Только вот это!.. – Наклонившись к девочке, он неловко дотронулся губами до ее щеки, ощутив душистую нежность кожи, и увидел совсем рядом широко распахнутые, удивленные глаза.

– Ви что делает?! – взвизгнула немка, с ненавистью глядя на Максима. – Убирайтесь вон! А ви есть взрослый девушка, – сбавила она тон, обращаясь к своей воспитаннице.

Камердинер, грубо схватив Максима за руку, потащил к двери. На секунду он обернулся и увидел потрясенные глаза и хрупкую фигурку Мари, безмолвно прижавшей ладонь к щеке, к тому месту, где он поцеловал...

Полозья саней поскрипывали по снегу. Проспавшийся Агафон, виновато покряхтывая, нашел какую-то одному ему известную точку на лошадином крупе и не сводил с нее глаз. Барыня, поругав для приличия сына, думала о генерале, с удовольствием вспоминая, что он не рассердился, а лишь рассмеялся, когда фрау Минцель пришла жаловаться на поведение Максима: «Из мальчишки получится настоящий гусар!» – ответил он ей. «Какой все-таки душа Владимир Платонович! Кажется, он влюбился в меня, поэтому и сына не стал ругать, – млела Ольга Николаевна, любуясь на белую равнину занесенной снегом реки. – Отказываться от приглашения не стоит, непременно поеду в Ромашовку на Новый год... И как откажешься, коли приняла рождественские подарки? – Потрогала сверток с туфлями и платьем. – Вот славно бы было, ежели Максимка на его дочке женился, но это несбыточно, конечно, – мечтала она. – Но какой дом! Какое поместье!.. Ах, если бы...»

– Максимушка, душа моя! Тебе понравилась Машенька?

В наступившей темноте она не могла заметить, как покраснел ее сын и с какой нежностью погладил маленький золотой крестик. Он сделал вид, что не расслышал, и мечтательно глядел в горние выси, на голубые точки звезд, вспоминая глубокие, как небо, глаза, и вновь переживая последние минуты их встречи.

Ольга Николаевна, поставив два четырехсвечных канделябра перед зеркалом в спальне, сняла рубашку и разглядывала себя: «Полновата, конечно. – Щурила глаза. – Но и он не юноша. Ноги стройные... – Подняла попеременно то одну, то другую. – Бедра тяжеловаты, но в его годы мужчинам нравятся именно такие... – Повернулась перед зеркалом, стараясь увидеть себя со спины. – Ягодицы так и вздрагивают, очень хороши. Талия тоже есть, хоть и не как у девчонки.

Но зато груди... – Подняла их руками – крепкие и большие! То-то он всё локтем их задевал... Волосы тоже хороши. Густые! Везде еще хороша...»

– Акулька! Спать завалилась, лентяйка? Тащи еще одно зеркало... Гадать стану!

«Совсем сбрендил на старости лет!» – пошла за зеркалом сонная девка.

Максим лежал с открытыми глазами и опять вдыхал запах чистоты и свежести, мысленно ласкал пальцами ее волосы и в который уже раз представлял ее зеленые глаза... Сердце его счастливо сжималось. Он поцеловал золотой крестик, повернулся на бок и закрыл глаза, слушая, как холодный ветер стучит по крыше и что-то катает, как неприкаянно хлопает где-то недалеко от его комнаты оторванная ставня, а в печи уютно гудит домовая...

«Забавный мальчик, – вспоминала, лежа в постели, Мари. – И чего так разозлилась фрау Минцель? Подумаешь, поцеловал в щеку, – хихикнула она, неожиданно для себя покраснев... – Вот дурачок! Симпатичный, только слишком белобрысый. Отчего у него волос не темный? Ему бы больше пошло... Самое в нем лучшее – это родинка в углу рта. Вот она его украшает. И небольшие ямочки на щеках, когда улыбается. А так – обыкновенный мальчишка. Да одет ко всему очень просто» – засыпая, думала она.

«Оказывается, эта опускающаяся помещица – жена моего врага Рубанова. Полагал, будто носят одну фамилию. Не думал, что, вступив в наследство, окажусь соседом этого ротмистра. И сынок весь в него... Такой же негодяй! Ну ничего... – зевнул генерал, – коли он жив, преподам еще один урок!» – любовно погладил красную эмаль Владимирского креста и орденскую звезду.

Агафон, засыпая, вспоминал ромашовский кабак: «Хороша водка! Но барыня обещала завтра самолично выдрать на конюшне. – Почесал волосатую задницу. – Ежели сама, то это еще ничего, а вот коли прикажет Данилке... – Заскрежетал он зубами. – Ежели Данилке... то этот стервец шкуру с меня спустит... А может, и сама... – Повернулся к стенке. – А вот ежели бы велела мне Данилку выпороть... – проваливаясь в сон, мечтал он, – то я бы всыпал ему сполна! Вот еще стервец нашелся. Злодей!..»

Вечером в последний день 1805 года, трезвый как стеклышко, Агафон вез барыню в Ромашовку на встречу Нового года. В сани он запряг тройку да навешал бубенцов на дугу, чтобы повеселить барыню. Порки кучер счастливо избежал, но с Данилой, так, на всякий случай, начал здороваться.

Ольга Николаевна сидела прямо, чтобы не измять новое платье под шубкой.

Перед самой Ромашовкой туча закрыла свежий молодой месяц, и пошел крупный пушистый снег. Ветер стих. Деревенские улицы обезлюдели, но сквозь маленькие оконца в избах блестел тусклый свет лучин. «Тоже Новый год встречают, – подумала Ольга Николаевна о крестьянах. У парадного крыльца уже стояло несколько экипажей. – Господи! Страшно-то как!» – перекрестилась она, осторожно вылезая из саней.

– Смотри у меня! – погрозила тяжело вздохнувшему кучеру и пошла в дом.

Дверь ей растворил лакей с такими же, как у генерала, пушистыми бакенбардами на пухлой глупой роже.

– Сударыня! – в ту же минуту подошел к ней хозяин, будто специально стоял за дверью и ждал ее визита.

Он долго не отрывался губами от протянутой руки. Был он в полной генеральской форме с рубиновым крестом на шее и звездой Святого Владимира среди других наград на груди.

«Великолепный мужчина!» – подумала барыня.

– Диана! – оторвался наконец от ручки Владимир Платонович. – Богиня Диана... «Тем приятнее будет отомстить ее мужу», – подумал он, с удовольствием разглядывая женщину с головы до ног. – Вам очень идет это платье, сударыня! – чуть склонил в поклоне голову.

– Спасибо за комплимент, Владимир Платонович, и за подарок, – плавным движением поправила волосы перед зеркалом: «Действительно – хороша!» – оценила себя.

Взяв под руку, генерал проводил ее в ярко освещенную и наполненную людьми залу. Из гостей она сразу узнала уездного предводителя и его жену. Рядом с ними стояли несколько дам в разноцветных платьях с жемчугами на открытых шеях. Мужья их толпились чуть в стороне, о чем-то увлеченно беседуя. Ромашов начал представлять Ольгу Николаевну присутствующим. Она опускала глаза, сдерживая дыхание, но грудь ее вздымалась от волнения – ей казалось, что все указывают на нее пальцами и сплетничают.

«Да что это я, право, как девчонка какая? – укорила себя Ольга Николаевна. – Не сама же пришла, а по приглашению... И одета не хуже других, и фигурой Бог не обидел», – распрямила спину и гордо повела плечами.

Гости начали будто случайно подтягиваться к накрытому столу.

– Я на минуточку, – извинился генерал, оставляя ее на попечение супруги уездного предводителя, командовавшей и здесь.

Плоскую грудь ее украшало кольцо из бриллиантов, и красная роза застряла в черных волосах.

«Не по чину ворует!.. – подумала Ольга Николаевна о ее муже и колье. – Вульгарно!» – оценила розу.

«Плебейка!» – улыбнулась ей предводительница.

– Прошу за стол, господа! – пригласил гостей генерал, надумав посадить Ольгу Николаевну рядом с собой, но его опередил полковник-гусар, бывший тоже без дамы.

Щелкнув шпорами и расправив усы, он взял под руку растерявшуюся Рубанову и устроил ее в середине стола, примостившись рядом.

– Следую из отпуска в полк, – доложил соседке, – и, узнав, что Ромашов в своем поместье, сделал крюк и завернул к нему на огонек... И, как видите, не напрасно! – галантно поцеловал ей руку.

Вспыхнув, Ольга Николаевна глянула в сторону генерала. Сердито хмурясь и играя желваками, тот глядел на полковника, как вахмистр на нерадивого новобранца.

«Неужели влюбился в меня? – сомлела она. – Но немножко ревности не повредит...»

– Не имею удовольствия быть с вами знаком... – разглагольствовал между тем полковник.

– Но стремились к этому всю жизнь!.. – неожиданно закончила за него фразу Ольга Николаевна и, покраснев, удивилась своей смелости.

Гусар на секунду пришел в замешательство, затем заржал, как жеребец, учуявший кобылу.

– Мой муж тоже гусар – ротмистр Рубанов! Может, слышали о таком?

– Аким? Это ваш муж?.. Вот так сюрприз... – воспользовавшись случаем, поцеловал ее руку. – Как же, не слышал? Кто ж из гусар не знает Рубанова?! – Полковник даже захлебнулся от переполнявших его чувств и, не зная, как выразить свою радость, что сидит с женой знаменитого бретера и бабника, еще раз поцеловал ее руку.

Генерал, глядя на них, скрипел зубами и пытался испепелить усатого ловеласа грозным взглядом.

– Прекрасный офицер, скромный и воспитанный! – не обращал на него внимания полковник, поднимая бокал с шампанским. – За вашего мужа! За гусаров! И за их жен! – опрокинул в себя содержимое и, будто спутавшись, стал наливать водку.

После каждого выпитого бокала он с чувством извинялся. Начав с шампанского и водки, отведал вина, настойки, наливки... и закончил опять водкой.

«Коли женщина оказалась женой брата-гусара, которого к тому же здесь нет, она вне посягательств», – решил он, уничтожая напитки и рассказывая о походе в Австрию. Понимать

его становилось все труднее и труднее. – Тогда мы подошли к цветущей деревне, извините, и я приказал остановиться на постой, извините.

«У него такая жажда! – дивилась Ольга Николаевна, заботясь, чтоб сосед не облил новое платье. – Словно походом шел не в Австрии, а в знойной пустыне...»

Вскоре весь рассказ состоял из сплошных «извините».

Маленький домашний оркестр из крепостных настроил инструменты и заиграл опальный вальс, который, взойдя на престол, запретил император Павел.

– Р-р-разрешите! – попытался оторваться от стула полковник. – Извините, п-п-пригласить на танец, извините.

«Слава Богу, тщетно!» – облегченно вздохнула Ольга Николаевна, глядя на его безуспешные попытки.

– Простите, мой друг! – услышала над головой радостно-ироничный голос Ромашова. – Прошу вас, сударыня, – поклонился он, – на тур вальса.

– С удовольствием! – протянула ему руку, легко вставая.

– Прибили, что ли, ко мне этот чертов стул, извините! – услышала она, уходя танцевать.

«Когда-то давно, может, это было в другой жизни, я любила танцевать...» – кружилась по зале Ольга Николаевна.

«Она прекрасно танцует!» – удивился генерал. – Вы гибки, очаровательны и с чувством ритма, – поцеловал ее в шею.

Ольга Николаевна не возмутилась. Все было допустимо в эту чудесную новогоднюю ночь. Голова ее приятно кружилась, огни свечей мелькали перед глазами. Окружающие казались добросердечными и ласковыми людьми, любующимися ее фигурой, платьем и изяществом танца.

– С таким кавалером, как вы, Владимир Платонович, невозможно быть иной... – расплющила грудь о его мундир.

В полночь в залу с шумом ворвались ряженные дворовые: черти, лешие, медведи, ведьмы – и стали дурачиться под смех гостей. Очумелый полковник, раскрыв глаза, увидел перед собой огромного медведя, раскачивающегося из стороны в сторону: «Где мой пистолет?» – стал он обшаривать карманы. Медведь правильно понял его жесты и уковылял подальше, на другой конец залы, а леший подумал, что будут давать деньги... им был как раз лакей с пушистыми, как у генерала, бакенбардами на пухлой глупой роже. По ней-то он и получил пустой бутылкой из-под шампанского.

Когда лешего унесли, довольные гости, надев шинели и шубки, направились в парк любоваться иллюминацией. Блики разноцветных огней отражались на счастливом лице Ольги Николаевны. Генерал стоял рядом, держа ее под руку. Предводительница, давно потерявшая свою розу, толкала локтем осоловелого мужа и указывала глазами на них.

Под утро гости стали разъезжаться, а кто был не в силах, как гусарский полковник, давно спали по комнатам. Ольгу Николаевну Ромашов, конечно, не отпустил: «Куда в такую темень?». Вдвоем они сидели на диване в розовой гостиной и смеялись, вспоминая забавные случаи сегодняшней ночи. Бутылка с шампанским и два бокала стояли на столе.

– За прелестную соседку! – произнес тост генерал.

Голова у Ольги Николаевны приятно кружилась. Кружились расписные стены, мебель и мягкий диван, на котором так хорошо и уютно сидеть, кружился весь дом, кружился весь мир.

Прикрыв глаза, чтобы остановить этот круговорот, она почувствовала на своем плече тяжелую мужскую руку, но уже не было сил сопротивляться. С плеча рука опустилась на грудь и сдавила ее, другая тем временем расстегивала крючки и пуговицы платья... Жесткие губы властно искали ее рот, а потом, вслед за руками, опустились ниже, нашли крупный сосок и стали ласкать его. Зубы покусывали мягкую нежную плоть. Сердце трепетало и кружилось где-то вне ее, вместе с комнатой, вместе с домом, вместе со всей землей...

«Зачем это я?» – Пыталась открыть глаза и освободиться от чужих властных рук и губ, но сознание не могло пробудиться, и было так хорошо и приятно, как много-много лет назад в дни промелькнувшей юности и первой любви...

Ах, как она тогда любила его!..

Руки между тем, требовательно лаская, сдернули платье и, приподняв, мягко уложили ее на диван. Теплая тяжесть давила на грудь и бедра, волнуя дыхание и еще сильнее кружа голову... Сдавленно застонав, она почувствовала грубую силу, входящую в нее, и волны наслаждения сотрясли тело.

Когда она открыла глаза, ей показалось, что живые розовые цветы осыпались с панно на ее тело и завяли...

Под самое Крещение нянька Лукерья, потеплее одевшись, велела собираться Акульке и Максиму.

– Да корзины захватите али еще што! – крестилась она на образа.

– А зачем, бабушка? – поинтересовался Максим.

– За снегом пойдем!

Акулька, вытаращив глаза, выронила валенок: «То барыня зеркало требует, теперь вот и бабушка свихнулась!» – грустно подумала она.

Хихикнув, Максим переспросил Лукерью, думая, что ослышался,

– Снег со стогов собирать станем... – бурчала та, выискивая корзину.

– Да зачем он нам? – недоумевал Максим. – Да еще по стогам лазить? Во дворе, что ли, его мало...

Акулька улыбалась, закатив глаза к потолку. Данила, видимо, подслушивающий их, появился в дверях и тоже вопросительно уставился на бабуку. Девка сразу преобразилась: глупо засмеялась неизвестно чему и стала прихорашиваться.

Вздохнув и поджав губы, нянька разъяснила:

– Снег, собранный в крещенский вечер, – целебен! Особенно взятый со стогов

– Угу! – кивнул Данила, исчезая за дверью.

– Недуги всякие лечить им можно: головокружение, судороги, в ногах онемение, – произнесла старая нянька. – Ноги-то у меня болят...

Максим оживился – все развлечение. От снега шел ровный тусклый свет. Огромная круглая луна проглядывала сквозь корявые голые ветви акаций – словно запуталась в них.

– Полнолуние, – задумчиво произнесла нянька. – Видать, Волга по весне сильно разольётся... Примета такая, – поочередно глянула на парня и девку.

– Бр-р-р! – поежился Максим. Лазить по снегу чего-то расхотелось.

Вдали послышался перезвон колоколов.

«Матушка едет! – обрадовался он. – Меня больше не берет, все одна да одна», – обидчиво всматривался в даль.

На Крещение Бог услышал его жалобы...

Утром, щурясь от солнца и аппетитно вдыхая свежий морозный воздух, Максим катил в Ромашовку. Он блаженствовал, слушая скрип полозьев, перестук, копыт и звон бубенцов. Старая Лукерья ласково улыбалась ему, зябко кутая ноги в медвежью полость: «Слава тебе Господи! – мысленно молилась она. – Хоть мальчонку порадует, а то совсем об дитяти забыла... – недовольно покосилась в сторону барыни. – Ишь, дремлет! Не выпалась, видать, гулена, и чего Акульку не взяла? Как девка просилась на водосвятие!»

Ольга Николаевна, утомленно откинувшись и томно прикрыв глаза, думала о своем. Дорога стала ей привычна – страха и интереса больше не вызывала.

– Вон Иордан! – оживилась старая нянька, левой рукой показывая на широкую прорубь и мелко крестясь правой. – Слава тебе Господи, еще до одного Крещения дожила...

Трое мужиков чем-то занимались у самого края лунки, не обратив на сани внимания.

Агафон жестко потер голову под шапкой и жадно поглядел на ледяную воду, покатав вязкую слюну в пересохшем горле: «Вчера с Данилкой чё-то бурно закончили святочное веселье, нынче утром чуть лошадь задом наперед не запряг», – хмыкнул он и тут же схватился за гудящую башку.

Медленно поднявшись по склону, сделал попытку рывкнуть на лошадей и взмахнуть кнутом, чтоб бодро, как и подобает рубановским, пронестись по Ромашовке, но голова предательски закружилась, и он чуть не вывалился из саней. Больше таких попыток кучер не предпринимал и, съездившись, задумчиво глядел на круп коня, по ошибке остановив его у кабака, а не у церкви.

Будто пружина подбросила Максима, когда в толпе крестьян увидел Кешку, деда Изота и всех его домочадцев.

– Сынок, куда ты? – попыталась остановить Максима Ольга Николаевна, но он даже не услышал ее.

Нянька укоризненно поглядела с саней, как ее любимец пробуравил толпу и кинулся к Кешке. В ту же минуту, прижав икону к круглому животу, появился батюшка, сморщился от солнца и огласил округу мощным чихом, вызвав смех прихожан и пожелания здравия.

«Крестный ход чевой-то затянулся, – подумала Лукерья, решив опереться на руку Агафона, но он уже исчез. – Вот нехристь, – вздохнула она, – поди в кабаке сатанинском богохульствует, ирод! – Ольги Николаевны рядом тоже не оказалось. – Куда все сегодня деются? Кабы и лошади не пропали!» – перекрестилась старушка, медленно семена за черноволосым басовитым дьяконом.

После праздников мать целеустремленно начала заниматься с Максимом французским.

– С кем я тут буду по ихнему разговаривать? – злился он, но язык учил.

Чернавский дьячок так же рьяно преподавал ему счет, письмо и «гишторию». Голова Максима трещала от половцев, печенегов и русских князей. Хромой дьячок вдохновенно рассказывал о древних руссах, которые воюют и одерживают победы. От него узнал Максим об усобицах, ослаблявших Русь.

– Тогда по Русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граяли, деля себе добычу... – читал дьячок. – Из-за этого-то пришедшие из восточных стран безбожные татары с царем Батыем покоряли один за другим города русские... и Рязань, и Владимир, и Суздаль.

И замирало сердце Максима, когда слушал он о смелых защитниках Козельска, о подвигах рязанца Евпатия Коловрата и о князе Новгородском Александре Невском.

И сжималось сердце мальчика, когда дрожащим голосом читал дьячок обращение князя Московского Дмитрия Ивановича накануне Куликовской битвы: «Любезные друзья и братья! Ведайте, что я пришел сюда, дабы Русскую землю от пленения и разорения избавить или голову свою за всех положить. Честная смерть лучше плохой жизни».

Не знал дьячок, глядя в затуманенные глаза своего ученика, что в этот момент, сжимая в руках копьё, стоял он рядом с князем Александром Невским и сражался на восходе солнца с немецкими рыцарями, и побеждал их, и гнал с земли Русской...

Дорога, дорога, дорога... Нескончаемая снежная колея, ветер и мороз!

«Хорошо, шинель из доброго сукна строена, а то пробрало бы до самых косточек... – думал Аким Рубанов, сквозь выбиваемую ветром слезу рассматривая заснеженные поля, черные избы деревень и холодные церкви. – Заснуть бы, чтоб не замечать времени».

– Барин! Устали, поди, сидеть? – обратился к нему видный парень, правивший лошадьми. – Н-н-о-о! – громко заорал он, хлестнув вожжами коренника. – Хошь, прилягте на сено да тулупчиком укройтесь, – заботился ямщик.

– Спасибо, братец, – кряхтя, Аким последовал его совету.

Сани ходко шли по наезженной колее, изредка подпрыгивая на кочках. От каждого такого толчка гримаса боли набегала на лицо Рубанова. Усталость брала свое. Не заметил, как задремал – угрелся под тулупом, да и дальняя дорога сон любит.

Прогремел под колесами мостик, вырвавший из остановившего время спасительного сна, и при этом больно отозвавшись в израненной спине.

«Никак не приладишься», – недовольно заворочался на сухом сене и поднял растрепанную голову.

Сердце болезненно сжалось, когда разглядел на пригорке каменную белую церковь, такую знакомую с детства...

– Ну, погоняй, малый, полтину наброшу, – захрипел, заволновался он, тяжело поднимаясь и усаживаясь в возке: «Вот и Покровскую проехали», – с трудом перекрестился Аким.

Кашель забил его тело... Откашлявшись, сплюнул кровавый сгусток в снег и утерся платком. Ветер колотил лицо и резал глаза.

Сани лихо влетели в Чернавку. Боль в груди отпустила, и он облегченно вздохнул. Деревенские собаки, весело лая, преследовали возок, а отстав, тут же поднимали лапу и желтили снежный сугроб. Встречные мужики отпрыгивали с дороги и жались к заборам, недовольно глядя на ухаля-ямщика.

– Останови-ка здесь, братец, – приказал Рубанов у кирпичного красного дома с вывеской «Трактир» над входом. – Пошли, передохнем и перекусим, – предложил враз заулыбавшемуся ямщику.

Несколько саней и крытых повозок стояли рядом с трактиром.

– Тут, барин, здорово дерут! – осклабился ямщик, помогая Рубанову выбраться из возка.

– Это сколько же?

– По два алтына с рыла!

Простое, наивное лицо ямщика и его оценка дороговизны до того рассмешили Акима, что в трактир он вошел просто лопааясь от смеха.

Сидящие за столами посетители подняли головы от своих супов и шкаликов, уставившись на вошедших.

«Все ж таки полезно временами менять высшее общество или военных на простой народ», – с удовольствием оглядел собравшихся, усаживаясь за стол.

Посетители, удовлетворив интерес, опустили головы, принявшись за еду.

«Ба! Да сюда и господа заходят», – заметил он лысого чиновника и еще несколько важно жующих физиономий.

Сделав заказ разбитному малому в белой рубахе чуть подумал, и, когда тот собрался уходить, бросил вслед: – Эй, человек, не забудь шампанского...»

Малый, казалось, остолбенел.

– Шампанского? – удивился он.

– А что, в этом курятнике шампанское не пьют? – опять рассмеялся Аким.

Заказ принес сам хозяин.

– Бутылка весьма дорогая, сударь! – заявил он, почтительно разглядывая столь щедрого посетителя.

Легкий румянец заиграл на щеках гусара: «Дожился! – весело подумал он. – Уже выпить шампанского – подвиг!»

– Почтеннейший! – язвительно обратился к хозяину. – Я же сказал: две бутылки...

От такого необычного требования владелец трактира просто одурел от счастья. С любовью глянув на необычного клиента, тут же помчался выполнять заказ, шевеля толстыми губами и что-то подсчитывая в уме.

Ямщик, напротив, остался недоволен. Он рассчитывал на более крепкий напиток, а его угостили этой барской кислятиной: «Лучше бы водовки плеснул на полгрявняги!» – размышлял он, шумно хлебая жирные щи.

Выезжая из села, обогнали кибитку, запряженную тройкой лихих коней.

– Отдохнули, родимые! Ну-ка наддай!.. – гикал ямщик на своих, ухарски сбив шапку набок. – Ишь, застоялись, – понукал коренника.

«Ладный парнишка, – любовался им Рубанов, – знатный гусар бы получился! – вздохнул он, вдруг почувствовав себя молодым и сильным. – Родная сторона помогает... А сколько здесь неба, света и воздуха, – замирало сердце то ли от быстрой езды, то ли от близости встречи с родными. – Господи! Неужели скоро увижу сына и жену?!»

– Давай, братец, погоняй! – хрипло торопил он парня, расстегнув шинель. От близости дома стало жарко.

Наконец проехали мост.

«Рубановка! Какие избы низенькие... – пронеслось в голове. – Неужто доехал?!» – увидел кривые ветви акаций, окружавшие барский дом.

Гикая, ямщик влетел под арку с валявшейся рядом, у изгороди, створой ворот. Над головой промелькнули единица и семерка, радостно екнуло сердце... и вот он – дом, такой нахоленный и серый, но такой родной и долгожданный. Аким быстро потерялся влажной щекой о колючее сукно шинели: «Ну что это ты, гусар?!»

На крыльце долго никто не появлялся.

«Видимо, валдайский колокольчик не звонкий!» – вылез он из саней, и полной грудью вздохнул воздух. Воздух родины и детства!.. Из двери выглянула растрепанная девка и, охнув, тут же скрылась. Заметивший ее ямщик мгновенно подтянул красным кушаком синий кафтан и выкатил грудь.

«Надо было гусарскую форму надеть! – критически осмотрел себя Аким. – А то вырядился, словно чиновник какой».

Дверь с шумом распахнулась и, отведя ладонью прядь седых волос и раскрыв руки для объятия, на непослушных, негнущихся ногах вышла и припала к нему старая нянька.

– Соколик ты наш ненаглядный! – заголосила она.

В ту же минуту он увидел худенького мальчишку в простой белой рубашке. Удивление в его глазах постепенно сменялось восторгом. Нянька обернулась, отпустив рукав шинели.

– Максимушка, что же ты ?.. Папеньку не узнаешь?! – сквозь слезы произнесла она.

– Максим! Сыночек... Привел Господь!

В мечтах и снах отец представлялся выше и сильнее, с саблей на боку и орденами на груди. Максим в растерянности смотрел на этого бледного, чуть сутулившегося человека с полужнакомыми чертами лица, и вдруг глаза стало предательски щипать. Мужчина медленно вытянул руки вперед... и тут Максима словно что-то ударило в грудь, а сердце затрепетало от радости, и с криком «Папенька!» – он бросился к Рубанову-старшему и ощутил на своих плечах ласковые и крепкие отцовские руки. Глаза его уже ничего не видели от слез. От счастливых слез!..

Стоя чуть в стороне и глядя на них, нянька молча плакала, промокая слезы концом платка. Даже ящик зашмыгал носом и потер глаза здоровенным кулаком.

«Худенький какой! Одни косточки... – гладил Аким спину сына и прижимал его к своей груди. – Ради этого стоит жить!» – подумал – и тут увидел ее... Яркая, цветущая женщина

робко улыбалась с крыльца, зябко кутая полный стан в белый вязаный платок. Чувство то ли страха, то ли досады промелькнуло в ее глазах, сменившись наигранной радостью.

– Черт-дьявол! – воскликнул он, с восхищением глядя на эту красоту, на густые светлые волосы и милый носик, даже сейчас, зимой, усыпанный чуть заметными веснушками: «Расцелую их все!» – замечталось ему.

Но какая-то неясная, смутная и неуместная тревога сдавила сердце, и стало тяжело в груди. На миг разноцветные круги в глазах скрыли милый образ... Но женщина уже шла ему навстречу.

«Вот было бы весело, коли потерял сознание...» – успел подумать он, заключая в объятия эту забытую, но такую изумительно притягательную женщину.

Он давно расстегнул шинель и просто с мальчишеским восторгом ощутил сквозь ткань сюртука не только ее грудь, но, как показалось ему, даже тугие комочки сосков. Губы его прижались к душистым, но каким-то жестким губам жены: «Совсем целоваться разучилась...» – с удовольствием отметил он, пытаясь поймать ее взгляд.

Испуганные и растерянные глаза женщины устремлялись то на ветви акаций, то на сына, но не смели встретиться с его взглядом, жадно вбирающим в себя ее стан, ее волосы, ее грудь – всю эту забытую, но такую желанную красоту.

– Да что же мы на морозе-то стоим? – прервала неловкое молчание нянька. – Эй, Данила, Агафон – вещи занесите, – распорядилась она. Расчувствовавшийся приезжий ямщик ухватил небольшой сундучок и, мечтая о стопке водяры, застучал сапогами по ступенькам крыльца. Одной рукой обнимая жену, а другой – сына, переступил Аким порог родного дома, и как будто никуда и не уезжал...

Те же вещи на тех же местах и та же легавая сука, радостно скулящая у ног, тот же стол и тот же диван... Сглотнув спазм, сдавивший горло, он широко перекрестился на такие знакомые с детства образа и понял, что дома, что наконец-то длинные дороги войны привели его в надежный, милый и ласковый родительский дом!

Под вечер разгулялась вьюга.

– Слава те Господи! – крестилась на образа Лукерья. – Вовремя приехавши, а то бы засыпало в дороге. Вона как метель разбушевалась... – не переставая креститься, прижималась вечно мерзнувшей спиной к горячей печи.

Аким выглянул в окно: и правда, ветер бесновался, отыгрываясь на беззащитных акациях. Во дворе боролся с ветром Агафон. Вьюга кидалась на него голодным белым волком, стремясь свалить в сугроб, рвала с головы шапку, отгибала полы тулупа, беспрестанно забрасывая снегом.

Вздвигнув, в ознобе Рубанов передернул плечами и тоже прислонился к горячему боку печки. От весело потрескивающих дров и ровно гудящего огня, от теплой комнаты и знакомых с детства запахов, от поскрипывания половиц под ногами и мирного тиканья больших напольных часов покой и счастье наполнили душу, и неиспытываемая дотоле радость волнами омывала сердце. Влюбленными глазами смотрел он на жену, на ее руки, сложенные под грудью, на яркие до пунцовости от горячего чая пухлые губы.

Его сын, широко распахнув глаза, ждал все новых рассказов о кавалерийских атаках, о бесстрашных гусарах, о русских солдатах, встречавших француза в штыки. Время от времени Максим благоговейно прикасался к отцовским наградам. В который раз рассматривал знаки орденов Владимира и Анны, Георгиевский крест, любовался золотой шпагой с надписью «За храбрость», и в своих мечтах уже рубился с французами, скакал на коне впереди полка, и за подвиги сам император прикалывал на его грудь орден и награждал золотой шпагой.

Наконец они остались одни... Старая нянька ушла в людскую рассказать об услышанном. Сын заснул в кресле, не выпуская саблю из рук, и Аким, нежно поцеловав, отнес его в кровать, положив ножны с саблей рядом: «Рубановы с детства с оружием не расстаются», – с гордостью подумал он.

И вот они остались одни... Одни в затихшем доме. И вдруг стало не о чем говорить... Пока ехал, столько хотелось спросить и столько рассказать... А сейчас он смотрел на нее и глупо улыбался, поражаясь своей робости и досадуя: «Это моя жена... У нас уже взрослый сын... – Ему стало смешно. – Вот бы поразились друзья-гусары, увидев меня в таком дурацком положении – стесняюсь собственной жены...»

Он нервно хохотнул и почувствовал, как вздрогнула женщина, напряженно сидящая на диване. Он ощущал в себе необыкновенный прилив сил. Впервые после ранения чувствовал себя столь отменно.

– Что ж, Ольга Николаевна, приглашаю вас на бал! – обратился к ней по имени отчеству. – Предлагаю нарядиться в свое лучшее платье, и через полчаса встречаемся в этой же комнате, – галантно поклонился и, взяв за руку, довел ее до дверей спальни: «Придется ухаживать по-новому за своей собственной супругой».

В спальне Ольга Николаевна притронулась ледяными ладонями к пылающим щекам: «Господи! Дай мне силы! – молила она. – Что мне делать? Я ведь совсем его не знаю, забыла, в мечтах и мыслях он представлялся совсем иным», – бросилась на кровать и в изнеможении замерла, закрыв глаза. И сразу же ей почудилось присутствие в комнате Владимира Платоновича. Он сидел в кресле и щипал свои пушистые бакенбарды. Губы его победно улыбались, а глаза, казалось, говорили: «Вы теперь моя, несравненная Ольга Николаевна!»

«Нет! Нет! Нет! – затрясла она головой. – Неправда! Я принадлежу своему мужу... Все остальное вымысел, бред и сон...»

– Я люблю своего мужа! – почти по слогам произнесла она и поглядела на кресло. Оно было пустое!.. «Господи! Помоги мне! – Встала с постели и хотела кликнуть Акульку, но передумала и сама достала из шкафа платье, но тут же, словно обожгла руки, отбросила его, чуть не закричав, – это было его платье... Разметав рукава, холодный шелк белел на темном ковре. На минуту ей стало нехорошо... Она опять сжала щеки ладонями. На этот раз они горели... – Да что это со мной?.. Приехал мой муж... Я люблю его и только его, – убеждая себя, взяла из шкафа простенькое свое платьице и старенькие туфли. Одевшись, быстро взбила локоны и посмотрела в зеркало. – Слишком бледна! – отметила она. – Но может, мне это кажется в сумраке комнаты?» Собираясь уже открыть дверь, она вернулась и в сердцах стала топтать лежащий на полу шелк, а затем ногой зашвырнула его в шкаф, громко хлопнув дверцей. На душе сразу стало чуть легче.

– Вот так-то, Владимир Платонович, – произнесла она и показала креслу язык.

В зале, среди множества горящих свечей, опираясь одной рукой в белоснежной перчатке о стол, а в другой держа наполненный до краев хрустальный бокал, стоял элегантный мужчина и призывно улыбался ей. Гусарская форма выгодно подчеркивала линию его плеч и тонкую, но крепкую талию. Спину он держал удивительно прямо. Блики свечей отражались на ордене и крестах, украшавших его грудь, и таинственным светом мерцали глаза, притягивая ее и одновременно пугая.

Первый раз за весь день она отважилась взглянуть в эти глаза и – о Господи!.. Как закружилась голова...

– Я пропала... – беззвучно прошептала она.

Звездочки свечей, отражаясь в зрачках, манили.

«И когда он только успел зажечь столько свечей?.. – подумала Ольга Николаевна. – Может, это и не он, а ангелы зажгли сонм мерцающих звезд?.. А какие звезды горят в его глазах?! Господи! Ведь это мой муж!..»

Ей захотелось подбежать к нему и обнять, прижаться всем телом, раствориться в нем, рассказать, как ждала письма, как скучала. Повиниться! Упав на колени, просить прощения...

Между тем он приблизился и слегка поклонился, затем его рука в белой перчатке нащупала ее безвольные пальцы, нежно пожала и поднесла их к губам. Глаза мерцали совсем рядом.

Губы женщины полуоткрылись, и она что-то прошептала. Он не расслышал, что именно. Медленно, не спеша, маленькими глотками, он отпил из бокала и протянул ей сверкающий хрусталь...

Ольга Николаевна прикоснулась губами к стеклу в том месте, где недавно находились его губы, и ей показалось, что хрусталь раскален, а горло ее пересохло от жажды. Захлебываясь, она пила из бокала, и тонкие струйки шампанского текли по ее подбородку к шее.

Протянув руку, он взял пустой бокал и резким движением разбил об пол. Искры свечой зажглись в хрустальных осколках, и ей показалось, что она поднялась в ночное небо и звезды мерцают у ее ног.

– Люблю! – тихо прошептала она, и на этот раз он услышал, и его губы вобрали шепот, выпитали это ее слово и стали пить ее, задыхаясь и торопясь, как недавно она пила из бокала...

И она почувствовала, что вновь зацвели цветы!..

За окном бушевала метель, ярился ветер, бросая в звезды снегом, а в её душе распускались цветы!..

Чуть позже она доказала, что любит и любила только его... Утомленные, крепко обнявшись, они молча лежали в постели. Сладко ныли зацелованные груди, и немного болели опухшие от поцелуев губы.

«Господи! Какая же я была дура, когда променяла ротмистра на генерала... И что будет, ежели он все узнает?»

Но сегодня, сейчас, не хотелось думать об этом.

Сегодня она была любима и счастлива!

Незаметно наступила весна.

– Я грачей видел! – с криком влетел в дом Максим, перепугав до смерти свою няньку.

На маменьку это известие не произвело ни малейшего впечатления.

– Сел бы лучше французским позанимался, – успела произнести она вслед убегающему сыну.

Отец с Агафоном куда-то умчались на санях по волглому снегу, не пожелав разбудить и взять его с собой. Вспомнив об этом, он с обидой шмыгнул носом и выскочил во двор. Данила, сопровождая каждый удар топора громким кхеканьем, усердно колол дрова рядом с конюшней. Высокая горка березовых и сосновых чурочек валялась недалеко от него на утоптанном грязном снегу.

– А я грачей видел! – безнадежно сообщил ему Максим.

С шумом выдохнув воздух, Данила с силой опустил топор на половинку пенька, стоящего на другом сучковатом толстом пне. Отколовшаяся чурка пролетела рядом с Максимом, едва не задев его.

– Шел бы ты, барчук, на... двор поиграть, – недовольно скосил глаза в его сторону дворовый, нагибаясь за обрубком.

Вздохнув, Максим медленно поплелся к дому.

«Какие они все скучные, эти взрослые, – с грустью думал он, – кроме папеньки, конечно», – увидел вышедшую во двор няньку.

– Где грачей-то видал? – пожалела она мальчишку.

– Там, – безразлично махнул он рукой в сторону конюшни. – Лошадиный овес подбирают.

– Герасим-грачевник грачей пригнал, – вспомнила Лукерья, – ведь надесь день преподабного Герасима, – перекрестилась она в сторону акаций, предполагая, что там он как раз и находится.

Максим повеселел.

–Здоровые такие, – развел он руки, – как куры, и черные.

– Увидел грачей – весну встречай! – ласково погладила его по голове бабушка. – У кого мучица осталась в деревне, хлеб нынче в виде грача печь будут, – чуть задумалась она. – Надо Акульке наказать, пушай тесто налаживает, – пошла в дом шаркающей, но бодрой еще походкой.

Аким Максимович за эти дни стал поправляться.

«Дома и стены помогают», – думал он.

Куда девалась сутулость, шаг стал легким и пружинистым, кашель реже донимал его. Лукерья всерьез взялась за его здоровье: втирала в грудь растопленное нутряное свиное сало, смешанное со скипидаром, перед едой и перед сном заставляла пить сок черной редьки с жидким медом, и, удивительное дело, здоровье возвращалось к нему без помощи лекарей.

– Чуть до могилы не залечили, проклятые эскулапы, – смеялся он, занимаясь с сыном сабельным боем или рассказывая ему о подвигах русских солдат.

Слушать отца Максим был готов с утра и до поздней ночи...

Когда было настроение, Аким Максимович, выпив на дорожку рюмашку пшеничной и аппетитно закусив хрустящим соленым огурчиком, приказывал Агафону запрягать тройку, небрежно бросал в сани ружьецо и вылетал со двора, дико гикая и настегивая лошадей кнутом.

– Совсем как ямщик какой, – пугалась в такие моменты старая нянька, а барыня, глянув в оконце на взметнувшие снег полозьями и побрякивавшие колокольцами сани, лихо катившие по накатанной колее, молча падала на колени и молила Божью Матушку и Ангела-заступника, чтобы дольше продлилось это счастье, а затем беззвучно рыдала в своей комнате.

Нянька, стараясь не скрипеть половицами, тихо ходила взад и вперед у двери, крестилась и скорбно вздыхала. Всей душой верила она в милость божью, но знала, что злые языки сильнее...

Аким был счастлив так, как бывают счастливы лишь в ранней юности, когда впереди целая жизнь и ты полон сил и здоровья, когда еще не сделано ошибок, а голова чиста от забот, когда тебя не предавали и ты не предавал! Задыхаясь от радости, он погонял пристяжных и коренного... Казалось, что сани еле плетутся, а ему хотелось полета, хотелось обогнать ветер и, крича от восторга, взлететь к гордым недоступным облакам и оставить на них след своих коней!

Начищенные Агафоном бляхи на сбруе вспыхивали от солнечных лучей, густо позванивали колокольцы...

Выехав на растоптанный, проторенный тракт, без понукания, сами, лошади прибавили ходу. Коренник, прядая ушами, отстукивал копытами барабанную дробь. Пристяжные, красиво изогнув шеи, бедово кося влажными глазами на Акима, стремились обогнать коренника.

Аким огляделся по сторонам: мелькавшие деревья остались позади. Справа тянулась небольшая снежная равнина: «Рубанов луг, должно», – определил он.

Недалеко от дороги показался неглубокий, напоминающий походный котелок овраг, почти доверху наполненный снегом, но вот и он остался позади. Сани въехали на пологую гору, и слева Аким разглядел заснеженную ленту реки, а впереди снова замаячили высокие оголенные деревья, сужающие дорогу до односторонней узкой колеи.

Тени деревьев бесшумно ударили по лошадиному крупу, безболезненно били по лицу и падали с саней на дорогу. В глазах зарябило от частого чередования солнца и тени, но вскоре деревья стали гуще, отбрасывая сплошную тень. Воздух звенел от тишины и покоя.

«Да это же мой лес!» – удивился он, сдерживая коней и переходя на неторопкую рысь, а затем и вовсе на шаг. Кони тяжело дышали и громко фыркали, встряхивая головами. Колокольцы нежно вторили им.

Аким лег в сани, отпустив вожжи и прищурившись, стал смотреть в небо. Кони успокоились и, нехотя перебирая копытами, медленно тащились по бесконечной дороге, которая никогда не кончалась, хоть лети стрелой, хоть еле-еле плетись. «Господи! – думал он. – Какой покой какая застывшая тишина и благодать. Как хорошо жить!.. И как жаль, что ни Алпатьев, ни старичок полковник, ни артиллерийский капитан не видят этого...» – всматривался в перевернутое небо, словно надеялся увидеть их там, в синеве горней выси.

Какой-то посторонний шум отвлек его от раздумий. Он недовольно поднялся на одном локте и огляделся по сторонам. Кони пошли бодрее, целеустремленно натягивая постромки, и потащили сани по какой-то грязной, в выбоинах и опилках дорожке. Шум слышался именно в той стороне, а вскоре он различил грубые мужские голоса.

«Дворянское собрание леших, что ли?» – заинтересовался он, поудобнее устраиваясь в санях.

Голоса слышались все громче и ближе... Лес расступился, явив взору широкий двор за свежим дощатым забором и новые постройки.

«Черт-дьявол! Никак к Михеичу попал – к лешему лесному, – обрадовался он. – Давно следовало старика проведать, – с удовольствием разглядел невысокую крепкую фигурку с ярко рыжеющей на солнце головой. – Смотри-ка, и не седой еще! – позавидовал он. Трое мужиков, окружив лесничего, что-то просили. Увидев въезжающие во двор сани, он сначала грозно нахмурился, навесив густые рыжие брови на ресницы, но потом брови поехали вверх и скрылись под густыми рыжими волосами на лбу. – Сейчас глаза выскочат, – внутренне ухмыльнувшись, прокомментировал ситуацию Рубанов, а дед, резко разбросав руки и свалив одного из трех мужиков на унавоженный снег, шел уже прямо на лошадей. – С коренником, что ли, обниматься надумал?» – посмеиваясь, бодро выпрыгнул из саней.

Между тем лесничий, аккуратно ступая, обошел лошадей и, что-то радостно бормоча, приближался к приезжему. Подергав в воздухе грязными лаптями, опрокинутый им мужичок перевернулся со спины на живот и с трудом стал подниматься. «Пьяный в лоск!» – определил Аким.

– Господин ротмистр! – услышал он. – Ваше благородие... – И белые от инея усы ткнулись куда-то в грудь.

На миг Рубанов ощутил запах самосада, и тут же крепкие руки Михеича обхватили его, и старик жалобно захлюпал носом.

– Ну, ну, вахмистр! – в свою очередь обнял его Аким и почувствовал, как в носу тоже защекотало: «Приятно все же встречаться с молодостью», – расчувствовался он.

– А до меня дошли слухи, что убит! – всхлипывал дед. – Солдат один безрукий рассказывал, страсть что творилось под проклятым Ауффрицем.

– Аустерлицем! – поправил Рубанов, и тень воспоминаний набежала на лицо.

– Но, слава Богу, живой! – неожиданно заулыбался Изот и, отступив на шаг, с облегчением высморкался в снег.

Аким огляделся – мужиков во дворе не было: «Даже пьяница исчез... Словно ураганом смело!» – развеселился он.

– Справное, господин вахмистр, хозяйство у тебя, справное, – похвалил лесника, разглядывая новый дом, амбар и сарай, из которого слышалось блеянье овец. – Конюшня не хуже моей, – заглянул в приоткрытую дверь, где в уютном тепле хрумкали сеном три лошади.

– Все есть, ваше высокоблагородие, – краснел и бледнел лесник, он же по совместительству и егерь, скромно прикрывая дверь сарая, – и коровки есть, и овечки. . .

– Скоро ты меня уже высокопревосходительством обзовешь, – хохотнул Рубанов, – завел хозяйство – и слава Богу! – успокоил бывшего сослуживца.

– Чего стоишь?! – рявкнул Изот Михеевич мощным фельдфебельским басом на вышедшего из дома сына. – Распрягай коней, вишь, барин в гости приехал! – стал распоряжаться дед, надеясь улизнуть от опасного разговора.

– Тебе, господин вахмистр, свободно полком еще можно командовать! – польстил леснику Рубанов.

От удовольствия у того покраснело не только лицо, но и шея.

– Чего без шапки-то? – озаботился Аким, с удовольствием поглядывая на деда. – Не дай бог простынешь еще. . .

– И-и-и! Господин ротмистр, старого гусара ни одна холера не берет, – стукнул себя в грудь кулаком. – Что же я вас на морозе держу? – спохватился он. – Милости просим в избу, – растянул рот во всю ширь и поиграл бровями, радуясь, что миновал финансовой ревизии.

Семейство сразу догадалось, кто почтил их присутствием, и в доме стоял дым коромыслом: невестки спешно прибирались, ставили готовить жаркое, ныряли за соленьями в погреб, накрывали на стол, чего-то роняли на пол, давали подзатыльники Кешке, получали шлепки от мужей. . . И весь этот кавардак назывался – любимый барин пожаловал

– Смотрите у меня! – грозно рычал на сынов Изот Михеевич. – Помните, из чьих рук едим!..

Лицом в грязь, конечно, лесник не ударил, хотя она и не была бы заметна на его рыжей голове. Сидели они с барином вдвоем, сынов Михеич снарядил по хозяйству, дабы не мешали воспоминаниям и, не приведи господь, чего лишнего не брякнули. За столом прислуживали обе невестки. Хозяйских дров не пожалели – натоплено в горнице было на славу. По всему дому разносились запахи свежесваренных щей и пирогов.

Перед едой солидно покрестились на образа и по первой выпили и закусили молча. Степенно похлебали жирных щей и выпили по второй. Пот градом катил с покрасневших лиц.

– Уф! Михеич. Передохнуть маленько следует. – Откинулся Аким спиной на стенку, забыв весь свой дворянский лоск.

– А грибочков-то соленьких? Груздочков под третью рази не желаете? – засуетился лесничий. – Дочки, грибочков барину тащите да осетринки отварной, – слабым голосом велел он вмиг появившимся невесткам.

– Хороши у тебя девки! – похвалил Аким, с удовольствием разглядывая дебелых красавиц, любуясь их легкой походкой, волнующей полнотой рук и смелостью глаз, без стеснения встречающих взгляд гостя. – Хороши!.. – блаженно щурясь, раскуривал трубку с коротким чубуком.

Любовался он ими, как художник любит удачную картину, а архитектор прекрасным дворцом, ни одной похотливой мысли не было в его голове.

– Куда там до наших заграничным мамзелькам! – поддержал тему Михеич, опрокидывая в себя еще одну рюмку и забрасывая рукой горстку грибков в широко раскрытый рот. – Гоняй их ложкой по всей тарелке, словно Суворов турок, – оправдался он.

– В этом ты прав, – пускал к потолку кольца дыма Аким. – Вино, война и женщины! Что еще надо гусару?..

– Больше ничего! – махал рукой захмелевший дед. – Грибков рази только вот. . .

– Нет, надо. . . Хоть гусару, хоть драгуну нужен еще дом, – обвел вокруг себя трубкой Аким, умудряясь ничего не сбить со стола. – Семья! – уставился он на лесника.

Тот с трудом поднял глаза и кивнул головой, чуть не свалившись с лавки.

– Добрая водочка! – похвалил Аким, с трудом поднимаясь на ноги. – Дамы! – заорал он, перепугав вмиг заскочивших в горницу девок. – Папеньку на воздух! – отдал команду, опершись рукой на подвернувшееся уютное плечо и тяжело шагая к двери. – Жарко у вас тут, вот и раскиселился вахмистр.

Свежий, чуть влажноватый ветерок, благоухающий весной и лесом, приятно освежал голову и бодрил тело. Сыновья вытащили лавку на улицу и усадили папашку, уперев его для крепости спиной в стену, а сами устроились по бокам. Какое-то время Михеича заваливало вперед. Он так и норовил уткнуться носом в волглый снег, но крепкие руки благополучно удерживали его. Добродушный облезлый дворовый пес, шевеля влажным желтым носом, уселся напротив хозяина, изумленно наблюдая за ним.

Акиму не хотелось сидеть. Хмель мигом вышел на свежем воздухе, и энергия кипела в нем, будоража кровь. Хотелось битв и приключений...

«Уже потянуло в полк? – удивился он, сжимая и разжимая ладонь. – К сабле, что ли, чешется?.. Не к деньгам же?!.»

– Мужики! – обратился к рыжим лохматым головам.

Кобель тоже повернулся в его сторону. Башка его была такой же рыжей и лохматой, как у хозяев.

– Тебя это не касается! – на полном серьезе сообщил Аким расстроившейся собаке. – А не посражаться ли нам на сабельках?

– Давай! – рявкнул проснувшийся Михеич, не дав даже закончить фразу. – Постражаемся! – ухмыльнулся он, резво вскакивая с лавки. Ноги крепко упирались в снег, а руки в бока. – Не смотрите, что старенький и кашляю, – топнул ногой, обутой в сапог, оставив в снегу глубокий след.

Сыновья помчались в дом за саблями.

– У меня все есть, – хвалился немного протрезвевший лесник, – и сабли и пистолы... в лесу без этого нельзя. Паренька твоего обучаю. Знатно барчук стреляет, – икнул он и взял в крепкую еще руку рукоять сабли, принесенной сыновьями.

– Ежели меня победите, – произнес Рубанов, – червонец за мной, – рассек воздух саблей, гикнул и кинулся на противников.

Дышалось и двигалось ему удивительно легко: спина не болела, рана не чувствовалась. Движения были точны и упруги, выпады неожиданны и сильны. Молниеносным движением он выбил саблю из рук одного из мужиков и треснул его плашмяком своей, по заднице.

– Первый готов! – азартно выкрикнул он.

Перепуганный пес отбежал на безопасное расстояние и хрипло лаял. Аким развеселился. Смех прямо-таки душил его, разрывая на части грудь. Удары проходили удивительно хорошо и четко. Через несколько минут он обезоружил и самого лесника.

– Что, рыжие?! Не видать вам десяти целковых. – Чувствительно огрел несколько раз по спине третьего и последнего из противников. – Это вам не вилами дерьмо таскать. – Метнул саблю в дверь, где она, дрожа, и застряла. – Пойдем-ка в дом да продолжим трапезу, – теперь уже он, словно хозяин, пригласил лесника. – А еще силен, силен гусар! – польстил деду. – В твои года пора на печке сидеть, а ты дерешься, как молодой, – достал из кармана деньги, нашел десятку и протянул леснику. – Бери, бери, коль барин жалуется, – велел он. Но тот и не думал отказываться.

– Ну, ваше сиятельство, и горазд ты на сабельках! – ошалел от счастья дед. – Чисто молния разил! – подхалимничал он, нежно перегнув и схоронив ассигнацию за пазухой.

Выпив две рюмки водки, Изот Михеевич велел подавать чай. Невестки словно стояли наготове за дверью. Плавнo покачивая бедрами, одна внесла ведерный самовар, другая – огромный поднос с горкой свежих пряников и густым липовым медом в красивой вазе – знай, мол, наших!

Ну как же не выпить еще под такой приторный медок? Лесник захмелел снова.

– Вот что, барин, смотрю, на девок моих любуешься?! А хочешь, они раны твои солдатские в банке пропарят? Мигом вся хворь выскочит.

– Да меня, милейший мой Изот Михеевич, Лукерья залечила до...

– Ха-ха-ха! – развеселился бывший вахмистр. – Эта старая гримза одним своим видом любую болезнь отпугнет... – непочтительно перебил он барина. Водка опять сделала его болтливым и равным по своей значимости генералу. – А мои сношеньки... – заблестел глазами лесник, – так умеют лечить... о-о-о! – не смог подобрать он сравнения.

Выпив две чашки чая, Аким с удовольствием закурил, вполслуха слушая расхваставшегося и понесшего явную дурь старика.

– Не уговорил, дед! – смеялся Аким, дымя своей трубкой и поудобнее размещаясь на лавке. – Как-нибудь в другой раз, – обнадежил Михеича.

– Вели лучше сани запрягать! – выбил потухшую трубку. – А то супруга моя заждалась, – поднялся он с лавки.

Дед недобро сверкнул глазами и настырно продолжал уговаривать:

– Эка! Супруга заждалась... – водка явно помутила его рассудок. – Поди, опять в Ромашовку к своему генералу укатила, да ей бы – убили тебя, и слава Богу, под боком генерал вдовый живет, а то подумаешь – ротмистр нищий! Генерал-то ловчей... – безудержно понесло старика.

Трубка выпала из потных, враз ослабевших пальцев. Аким уже знал, полностью был уверен, что это правда.

Судорога перекосила его лицо, сделав его страшным. Глаза вылезли из орбит. Он пытался крикнуть: «Замолчи, старик!» – но крик замер где-то в глубине души, и откуда-то снизу медленно поднималась боль...

«Не надо, не надо, не надо... Я не хочу ничего слышать, не хочу ничего знать!.. – с отчаянием думал он. – Слышишь, старик?! Ничего! Это неправда!» – А разум подсказывал, что – правда, что дед не лжет... Ноги перестали слушаться, и он расслабленно опустился на скамью. Хотелось заткнуть уши, бежать... но он знал, что от этого невозможно уйти и спрятаться. Все в нем кричало и молило о пощаде... Он перестал различать силуэт и лицо лесничего, взор его ловил только губы, беспрестанно шевелящиеся и произносящие роковые слова. Слова складывались во фразы и несли боль... Боль и утрату! Он чувствовал, что это конец... Конец его разудалой счастливой жизни! «Ну зачем, зачем я сюда приехал?..»

Сила вернулась к нему. Многократно умноженная яростью и унижением. В каком-то тумане или, скорее, беспмятстве поднялся он из-за стола, шумно опрокинув лавку.

– Н-е-е-т! – по звериному зарычал и ринулся к выходу, краем сознания замечая перевернутый стол, падающий самовар, расколотую вазу, перепачканные медом пряники на полу и оторопевшего, трезвевшего на глазах лесника, начинающего медленно понимать, что он натворил...

Смеркалось! Отдохнувшие и сытые кони летели знакомой дорогой. Лес грозно шумел над головой. Морозило! Гулко стучали копыта в сумрачной лесной тиши: «Как неуютно и одиноко в этом заброшенном мире! – думал он, настегивая коней. – Куда я теперь? – Кони, вынесли его на замерзшую реку: Само провидение ведет меня!..»

Опасно потрескивал истончившийся весенний лед, но даже малейшего признака страха не возникало у Рубанова. Лишь кони боязливо прядали ушами и косили дикими глазами на трещины, остающиеся позади саней, и знай наддавали, понимая, что здесь нельзя останавливаться и спасение лишь в быстром беге. На другом берегу, в гору, шли медленно, устало поводя влажными боками. Тяжелый пахучий пар поднимался от их спин. Аким давно перестал погонять коней, плеть замерла в безвольных пальцах. Но вот он встрепенулся, на минуту задохнув-

шись от боли, пронзившей не только тело, но и, казалось, душу, и неуправляемая ярость свела судорогой губы.

«Убью! – подумал он. – Убью обоих!» – сжал пальцы в кулак. Не помня себя от бешенства, выпрыгнул из саней у господского дома и забарабанил в крепкую дверь литой серебряной рукоятью плети.

Долго не открывали, наконец, дверь медленно начала растворяться. Не дожидаясь, ударом плеча распахнул ее, сшибив на пол пухлорожего, в бакенбардах, лакея.

– Барин не принимает, – заверещал тот, пытаясь подняться.

Определив, куда идти, Аким отвесил пинка по жирной лакейской заднице, снова опрокинув малого, и стал подниматься наверх. Быстрым шагом прошел два зала, не встретив ни единого человека: «Словно провалились все, – недовольно успел подумать, минуя розовую гостиную. – Здесь, что ли, они развлекались?» – Заскрипел зубами и сорвал со стены в следующей комнате саблю. Из-за портьеры выглянула седая голова лакея и тут же исчезла. Полоснув саблей по портьере, Аким схватил за шиворот камердинера.

– Где твой барин? – тряс он его. – Отвечай! – ударил слугу о стену так, что у того лязгнула челюсть.

Выкатив испуганные глаза, тот ничего не сумел произнести и только махнул куда-то рукой.

– Веди, – толкнул его Аким, услышав в соседней комнате звуки клавикордов.

Ударив ногой в дверь, он ворвался в ярко освещенное помещение и, тяжело дыша, осмотрелся по сторонам. Сидевшая на круглом стуле за музыкальным инструментом тощая дама, обернувшись на шум и увидев в дверях человека с саблей, тихонько пискнула и тут же бесшумно упала в обморок на мягкий пушистый ковер.

Генерал на диване с чашкой чая в руках удивленно шурился, пытаясь понять, что происходит. Постепенно лицо его стало меняться.

– Кликнуть сюда дворовых! – заверещал он, поднимаясь с дивана. – Хватать этого бунтовщика – и в колодки! – Отступил к стене. На зеленом парчевом халате темнело чайное пятно.

– Сударь! – срывающимся от гнева голосом произнес Рубанов. – Извольте взять шпагу и защищаться...

– Да кто вы такой и что вам от меня надо? – отлепился от стены генерал и важно выпятил грудь, постепенно приходя в себя. – Я узнал вас! – голос его сорвался на фальцет. – Вы тот самый гусарский ротмистр, который там, в Австрии, оскорбил меня... Я был прав. Ваше место в Сибири. Очень жаль, что вас простили... Неужели вы пришли мстить боевому генералу? – словно случайно дотронулся манжетой халата до ордена, с которым не расставался даже дома.

– Я тоже узнал вас, генерал Ромашов! Вы не только фанфарон и трус, вы еще и предатель!

– Как вы смеете, ротмистр! – взвизгнул Владимир Платонович. – Вы ответите за свои слова...

– Отвечу! – надвигался на него Рубанов. – Я за все отвечу... И за то, что задержал неприятеля, и за взорванный мост... – наступал Рубанов, – и за мой эскадрон, и за поручика Алпатьева... – схватил орден и ударил остро отточенной саблей по халату.

«Владимир» остался в его руке, а генерал закрыл ладонью дыру на халате и загордился локтем. Глаза его расширились от ужаса, он, брызгая слюной, пытался что-то произнести в свое оправдание. Похож он был на испуганного ошипанного петуха, из которого повар собирается приготовить суп.

Открывшая было глаза тощая фрау, опять потеряла сознание.

Неожиданно генерал заплакал: – Это мой орден, мой, – канючил он. – Мне пожаловал его сам государь император.

– Ошибаетесь, ваше превосходительство, – убрал награду в карман Рубанов. – Вы не достойны его носить... Надо было сказать: «Умрите за Россию!..» А вы обманули всех, гене-

рал Ромашов. Орден принадлежит не вам, а артиллерийскому капитану и polegшим у моста солдатам

– Не знаю я никакого капитана! – визгливо перебил его генерал и плюхнулся на диван.

– Неважно! – поднял саблей его подбородок Аким. – А жену мою, Ольгу Николаевну, надеюсь, вы знаете? – заглянул он в помертвевшие от страха, бегающие глаза. – Не забыли еще глупую барыньку?..

Генерал с трудом сглотнул застрявший в горле ком:

– У нас были чисто соседские отношения... .

– Ну конечно! – опять закипел Аким. – Вот на этом диване, да?.. – Стал потрошить саблей гобеленовую обивку, едва не задевая генерала. – И какой орден, интересно, вам пожалуют за этот подвиг? Или чин высочайше присвоят? – принялся крушить дорогую мебель. За мебелью последовали фарфор, зеркала и штофные обои... .

Постепенно ярость оставила его. Тяжело дыша, он огляделся и, держа саблю перед собой, подошел к генералу, по пути изрубив картину с итальянским пейзажем. Медленно съезжая с дивана, тот опустился на колени.

– Не убивайте! – пополз он к сапогам Акима и попытался обнять их. – Не убивайте! Это она... она во всем виновата!

Рубанов брезгливо оттолкнул его ногой: «И это русский генерал!» – подумал он.

– ...Может, мы с вами знали друг друга с детства, – ползал по полу Владимир Платонович, – меня иногда привозили в имение погостить к дяде... Вы и дядюшку моего должны знать... и меня обязательно вспомните, обязательно... То-то я удивился тогда, в Австрии, что лицо мне ваше знакомо... .

– Папенька! – вбежала в комнату тоненькая белокурая девочка и бросилась к отцу. – Папенька, вам плохо? – с ужасом обвела взглядом истерзанную комнату, и ее огромные зеленые глазищи бесстрашно встретились с глазами Акима. – Вы не хороший, злой человек! – дрожащим от гнева голосом произнесла она. – Немедленно уходите отсюда, – наступала на него, – или я... я... не знаю, что с вами сделаю!

Эта девочка с тоненькой гибкой фигуркой в розовом платьице, бесстрашно защищающая своего отца, окончательно успокоила Рубанова. Он с удивлением разглядывал разгромленное помещение, казалось, недоумевая, неужели это сделал он.

Кряхтя, генерал присел на уцелевшую часть дивана и тоскливо потрогал то место, где раньше грел душу орден. Ему стало стыдно за себя, за недавнее свое унижение, за тот ужас, который бросил его на колени перед этим буяном: «Этого я ему никогда не прошу!» – с ненавистью глядя на Рубанова, подумал Владимир Платонович.

В дверях выросли фигуры дворовых с ружьями и топорами.

– Чего стоите? Хватайте его! – велел Ромашов, нервно теребя дыру на халате. – Да обыщите как следует этого вора... .

Видя, что с отцом всё в порядке и ничто ему больше не угрожает, девочка бросилась к немке, все еще лежащей на полу.

– Фрау Менцель, что с вами?

На это бедная гувернантка сумела лишь произнести: «Ох!». Жалобно стелая, она стала медленно подниматься, держась за руку своей воспитанницы и с опаской поглядывая на ворвавшегося разбойника.

Рубанов так зыркнул на дворовых, что они невольно отступили под его взглядом.

– Ежели вы еще хоть немного дорожите своей честью, жду вас завтра утром, как только рассветет, на той стороне реки с дуэльным пистолетом и лакеем. Он и заменит вам секунданта. Стреляться будем с трех шагов, – направляясь к выходу, произнес Аким.

Дворовые расступились, пропуская его. А лакей с бакенбардами, так неудачно открывший дверь, даже уважительно поклонился, несмотря на разбитый нос и лоб. Видно, зуб на сво-

его барина имел намного длиннее, чем на сбившего его, но зато все порушившего здесь человека. Мимолетная улыбка на его лице недвусмысленно говорила, как он рад этому бардаку.

– Все в Сибирь пойдете, коли он выйдет отсюда! – заорал пришедший в себя Владимир Платонович.

Обернувшись к дворовым, Рубанов угрожающе махнул саблей. Дальше всех сиганул пострадавший от него лакей.

«Прыгай, прыгай! Порки тебе все равно не миновать... – быстрым шагом направился к выходу из дома и залез в сани. Его кони не успели отдохнуть от гонки и все еще тяжело дышали. – Совсем бедных загнал... – пожалел их, тихонько трогаясь в путь. – По льду опять погонять придется, а то провалимся. У такого фанфарона – и такая прекрасная дочь! – вспомнил он девочку. – Ишь, храбрая какая! Настоящая русская дворянка, и должно, станет красавицей... Ну, да этого мне не узнать... Вопрос – куда ехать?! Домой не хочется, – рассуждал он. – А больше и некуда».

Снова гнал коней по хрустящему льду.

Как и предполагал Аким, часть дворовых помещика Ромашова принимала участие в экзекуции.

Трое являлись пострадавшими: пожилой камердинер, лакей с бакенбардами и еще один лакей, не сумевший отстоять имя, честь и добро господина. Пять человек являлись исполнителями и активно, со всем пылом, этому отдавались. Один – их господин, был наблюдателем, вдохновителем и руководителем сей акции. После нанесенного оскорбления он нюхал табак из золотой табакерки со своим дворянским вензелем на крышке и отдыхал душой, слыша крики истязуемых. Остальная многочисленная дворня торопливо складывала вещи, готовясь к отъезду.

«Чего удумал, каторжник!.. – психовал генерал. – Стреляться с ним должен... С безродным нищим гусаром. Шалишь, брат! Не стреляться с тобой буду, а напрямик к государю полечу – капитан-исправник с тобой не сладит... Ответишь за нанесенное оскорбление и убыток, ответишь!» – мстительно думал он и тяжело, с досадой, чихнул, вспомнив картину с итальянским пейзажем и особенно орден.

– Так, так его. Порезче, порезче зги, розог не жалеи! – руководил Владимир Платонович: «Чего их жалеть после такого убытка», – думал он.

Мордастый лакей в бакенбардах ревел медведем...

Рано утром, прихватив Агафона и Данилу, Рубанов вглядывался в противоположный берег, окутанный мутной туманной пеленой. По ночам еще морозило, но к утру мороз спадал.

– Не слышать колокольцев? – спрашивал Рубанов, щелкая вхолостую курком дорогого английского пистолета и прислушиваясь.

– Никак нет, ваше высокоблагородие, – подавляя зевок, отвечал согласно воинскому уставу Агафон.

В голове у него стоял сплошной гул после вчерашнего: «Поди-ка тут разберись, чего это звенит...»

– Похоже, полозья скрипят? – через некоторое время вскидывался Аким.

– Да нет, барин, послышалось, – ежился в санях Данила.

«Делать им, барам, нечего, – рассуждал он, – как только стреляться в такую рань!»

Время шло.

Прохладный влажный ветерок разогнал дымку и остатки сна.

На том берегу какая-то баба пошла по воду.

«Может, верхами решил? – предполагал Рубанов, ясно сознавая, что его противник не приедет. – Трусу и честь не дорога!» – пошел он к саням и расправил вожжи.

Агафон скатился с облучка в снег.

– Никак туда ехать собрались, ваше высокоблагородие? Уходить можно... Лед-то тонок! – со страхом перекрестился он и жалостливо погладил лошадок.

Ничего не ответив, Рубанов погнал тройку на другой берег.

Снег с кусочками льда летел из-под конских копыт. Кони тревожно всхрапывали, но, послушные твердой руке, споро несли сани к такому далекому берегу.

Опять появилась боль... Нудно и выматывающе вгрызалась она в спину и грудь: «Жив буду, Лукерья подлечит своими снадобьями, сейчас не до этого», – думал он, не обращая внимания на опасный хруст льда под санями. Через некоторое время лошади вынесли возок на твердую землю, поднялись в гору и неспешной рысью понеслись к усадьбе.

Кованые ворота ее оказались на запоре.

«Убежал, гад!» – Зарядив пистолет, Аким выстрелил в воздух.

Тотчас же появились трое дворовых с ружьями.

– Не балуй, барин! – глухо произнес один из них, в засаленном армяке.

– Его превосходительство уехавши поутру! – приставив приклад к ноге, сообщил другой дворовой: – Всей семьей, – немного подумав, добавил он. – Пускать никого не велено, в случае чего приказано палить, – значительно погладил тусклый ружейный ствол.

«Черт-дьявол!» – в бешенстве Аким ударил кулаком по обшитой лубом спинке саней.

– Но-о! – повернул коней и погнал их к реке.

«Ведь у него полстены пистолетами увешано... Сразу и надо было стреляться, а не рандеву назначать...» – корил он себя.

На этот раз заупрямилась пристяжная – никак не хотела ступать на ненадежный лед. Приседала на задние ноги, фыркала и косила глазом на коренника: ты-то, мол, куда прешь?.. Орловский рысак шумно встряхивал головой, звеня сбруей, но послушно ступил на лед, постепенно переходя на рысь: понимал, что их спасение в скорости.

Аким хлестал вожжами спины лошадей: «Вот и середина реки, – думал он, – где наша не пропадала?!» До берега оставалось уже немного, когда, дико заржав, провалилась та самая пристяжная, которая не хотела идти. И тут же, потеряв скорость, по самую грудь ушел в воду коренник. Сани еще держались на льду.

«Надо выпрыгнуть», – подумал Аким, но было уже поздно... Все три лошади бились в воде, и сани следом за ними медленно опускались в полынью. Сначала Аким не почувствовал холода, но уже через секунду от ледяной воды перехватило дыхание. Краем глаза он увидел суесящихся на берегу Агафона и Данилу. Агафон что-то кричал ему...

«Спокойно! Спокойно... – взял себя в руки Рубанов. – Главное не теряться...»

Ломая грудью непрочный лед, коренник вел пристяжных к берегу.

«По-моему, они не плывут, а идут. Здесь, слава Богу, не глубоко. Вот он, берег – рукой подать... Но, Господи! – как холодно... Словно клинком тело режут...»

Сообразив, что, ежели намокнет, обязательно похмелят, Агафон кинулся к лошадям, провалился по пояс, но, схватив их под уздцы и успокоив, благополучно вывел на берег, жалостливо разглядывая пораненную о лед и кровоточащую грудь коренника.

Данила скинул с барина мокрую шинель и укрыл своим тулупом.

– Чего ты коня гладишь?! – заорал он на Агафона. – Вишь, барин замерзает, гони скорее домой!

Сам он в сани не сел.

Укрытый ватным стеганым одеялом, Аким, лежа на спине, безучастно глядел в потолок.

Нянька Лукерья и жена, беспрестанно охая и причитая, растерли его водкой, напоили чаем с малиной и медом; а еще нянька, шепча молитву от всех болезней, взяла полстакана вина из черной смородины и смешала его с полстаканом горячей воды.

– Во избавление от болезней раба Божия Акима крест хранитель, крест красота церковная, крест держава царям, крест скипетр князей, крест рабу Божию Акиму ограждение, крест, прогоните от раба Божия Акима всякого врага и супостата... – протянула ему стакан, заставляя выпить, – ...Святые святители Иван Предтеча Богослов, друг Христов, Тифинская, Казанская и Смоленская Божья мать, во святом крещении Пятница Парасковья, молитве Бога избавления от болезней раба Божия Акима...

Выпив разбавленное вино и откинувшись на подушки, он опять уставился в потолок, подумав, что Саввишна напрасно испортила водой напиток. Тело его горело и сочилось потом. Больше его ничего не интересовало, и он ни на что не реагировал. Даже сидевший неподалеку на диване Максим не вызывал в нем никаких чувств, а тем более не вызывала участия жена, деятельно хлопотавшая около больного. Казалось, что вся энергия, которая была в его организме, истрачена им за последние сутки и теперь осталось лишь безразличие и пустота.

– ...О, сдвижение честного и животворящего креста Господня, святой Победоносец Егорий Храбрый, великомученик, возьми ты свое копьё, которое держащее на змия льстивого; архангел Михаил, возьми ты свое пламенное копьё и отразите у раба Божьего Акима тишинку и родимца сновидящие, денные и ночные переполохи и всякие скорби и болезни из семидесяти суставов, из семидесяти жил и от всей внутренности тела, – шепот и монотонное бормотание старой няньки усыпляли и убаюкивали Акима, уносили его в далекий и безоблачный мир детства, успокаивали его тело и душу. Закрывая глаза, он медленно проваливался в глубокий, но недолгий сон.

Что-то, какие-то силы, не давали ему окончательно забыться и успокоиться, вырывая из блаженного сна и окуная его мозг в действительность воспоминаний...

Он беспокойно ворочался и, открывая глаза, видел, нет, скорее ощущал, касающуюся лба прохладную руку жены. Хотел увернуться от нее, тряс головой, и рука испуганно взмывала вверх и исчезала.

«Горит весь!» – слышал он шепот.

Даже одна тонкая свеча, почти не дающая света, невыносимо резала глаза, когда он глядел на нее, затем начинала двоиться, троиться, и вот уже вокруг бушевало злобное пламя, обжигающее душу и грозящее спалить беззащитное тело в этом адовом огне...

Сознание покидало его, принося недолгий покой и безмятежность

И только в мае, похудевший и ослабший, поддерживаемый Агафоном и Данилой, в шинели, застегнутой на все пуговицы, вышел он во двор погреться на ярком весеннем солнышке. Время от времени тяжелый кашель сотрясал его, болезненно отдаваясь в израненной спине и, казалось, выворачивая наизнанку все внутренности, на несколько минут затихая в хрипящих легких, чтобы затем с новой силой наброситься на слабое истерзанное тело.

Старая нянька не отходила от него ни на шаг, но все ее искусство не приносило пользы, так как сам больной не стремился к выздоровлению. Безразлично глотал порошки чернавского лекаря, которого пригласила к мужу, несмотря на сопротивление няньки, Ольга Николаевна. Столь же безразлично пил он настои из трав, приготовляемые самой старой мамкой, но пользы ни те, ни другие снадобья не приносили...

Ничто не радовало его: ни солнечный луч, ласково греющий щеку, ни набухающие почки акации, ни первая зеленая травка, пробивающая дорогу из зимнего подземелья к свету и солнцу, ни даже Максим, рассказывающий выученный урок или упражняющийся с саблей неподалеку от отца. А подходящая к нему что-нибудь поправить или подать лекарство жена вызывала если не ненависть, то глубокое раздражение. Но зато и скрывшийся генерал больше не бередил душевную рану, и стал безразличен Акиму, как что-то давнишнее и не имеющее никакого к нему отношения. Он не жил, а существовал, как существует зеленая трава во дворе,

но не имел ее жизненной силы. Даже воспоминания не приходили к нему. Ничто больше не трогало и не волновало его в этой жизни.

Прослышав о том, что его благодетель и бывший командир чувствует себя чуть лучше и желая искупить вину за болтливый язык, на шустром низкорослом коньке в поместье прибыл Изот. Приезжал он и месяц назад, но в тот раз ему не повезло... Во-первых, его рессорная бричка застряла в непролазной грязи как раз неподалеку от имения. Во-вторых, когда выбрался из грязи, барин далеко послал его... Из всего организма язык оказался самой здоровой и активной частью больного тела. Девка Акулина, посланная к нему в тот раз, сообщила, что барин больны и не принимают, а о том, что изругал, сказать постеснялась. Об этом за шкалик пшеничной с удовольствием сообщил Агафон.

Струхнувший лесник на этот раз приехал не с пустыми руками. Привез от чистого сердца целую бадью меда, благосклонно принятую Лукерьей, и был допущен пред светлы хозяйски очи. Стоя на коленях и целуя барскую руку, он вымолил прощение и уговорил Акима Максиминовича недельку погостить у него на свежем воздухе.

– Хворь как рукой снимет, – уверенно бил себя в грудь.

Барин изволили улыбнуться и дать согласие, к несказанной радости Михеича.

Максим тоже просился с отцом, на что получил разрешение.

Ольге Николаевне в поездке наотрез отказали.

Эта неделя стала одной из самых счастливых в жизни Максима и необычайно сблизила его с отцом.

Собрались по-солдатски быстро. Несмотря на заверения Изота, что у него всего вдосталь: ясное дело, успел наворовать! – бурчала Лукерья, но все равно распорядилась доверху набить возок припасами.

– Малый да больной! Им хорошо питаться надо, – рассуждала нянька.

Агафон с Данилой сбили ноги, таская коробка, корзины и туесочки. Даниле налили подожок на дорожку, хотя он никуда не ехал, Агафону Лукерья категорически отказала: – За дорогой лучше смотри, а то все кочки твои будут...

– Дык!.. Дык... Рази ж я?.. – разводил руками расстроенный кучер. В полуобморочном от тоски состоянии выехал он со двора.

Проезжая Рубановку, Максим здорово повеселился, когда увидел, что по пыльной уже дороге навстречу их возку шел пьяный расхристаный мужичонка в одном драном лапте и не думал уступать дорогу. Трезвый Агафон, трепеща от зависти, беззлобно переругивался с мужиком и норовил огреть его кнутом. Мужик ловко уворачивался, загораживаясь лошадьми, и благим матом орал, что он есть сам генерал-симусь Ляксандра Суворов и турки в Рассею не пройдут!.. Максим упал на дно возка от хохота и взбрыкивал ногами, переворачивая какие-то коробки. Отец сидел ко всему безучастный и терпеливо ждал, чем закончится дело.

– Я – симусь! Вот кто! – орал мужичок.

Однако, увидев разъяренного бывшего вахмистра, подходящего к нему с арапником в руке, четко отдал честь, встав во фронт, затем повернулся кругом и молча замаршировал в кособокую избу, стоящую край дороги.

Всю дальнейшую поездку Максим, прыскавая и закрывая рот ладонью, чтоб не сочли за дурачка, раздумывал, за кого же прошел у мужика дедушка Изот?

По приезде он с Кешкой тут же умчался в лес: друг пообещал что-то показать, а Изот со старшим Рубановым степенно сидели в той же, что и в прошлый раз горнице, обедали и вели разговоры. Точнее, говорил один Изот, а барин молчал и иногда безразлично, в такт словам, кивал головой. Старый лесничий чувствовал свою вину, поэтому не пил, впрочем, Акиму было все равно.

Глядя на бледное лицо барина и время от времени слушая, как кашель рвет его грудь, лесник жалостливо отводил глаза. Решившись, наконец, завел своевременный, на его взгляд, разговор.

– Совсем староста обчество разбаловал, – рассуждал лесник, иногда внимательно вглядываясь в блеклые равнодушные глаза и худую фигуру барина. – Народишко работать перестал, а лишь только брагу с водкой глохчет и почета властям не оказывает... Будь я на его месте... – он покосился на Акима, пытаясь понять его реакцию и в случае заинтересованности усилить приятное впечатление, но барин безразлично жевал мясо и глядел в стол, затем поднес руку с платком ко рту и долго и тяжело кашлял, откидываясь спиной к стене.

Изот Михеевич вздрогнул – авось поживет еще! – и продолжил:

– ... Я бы дело повернул не так... К тому же вечно у него неурожай, ибо погода у поганца постоянно не та, что требуется... Вечные недоимки у подлеца, тудыт его мать!.. У меня б так не было... Вот ба где всех держал, – сжал он свой маленький кулачок, усыпанный рыжим волосом и веснушками.

Ему показалось, что благодетель благосклонно кивнул. Лицо лесника озарилось улыбкой, но тут, громко распахнув дверь, вошла Пелагея, а следом и другая невестка с подносом в руках. Дед недовольно нахмурился и заерзал на лавке, но невестки не спешили уходить. Они медленно раскладывали на столе принесенные закуски, задевая временами гостя то тяжелой грудью, то мягким бедром, но барин не обращал на них внимания и иногда морщился – то ли от боли, то ли от мешавших ему женщин. Затем его опять забил кашель.

– Тятенька! – обратилась к свекру Пелагея. – Мужики баньку топят, – крутанула задом. – Может барин попариться желают? – чуть покачала головой и томно улыбнулась, глядя на Акима.

Тот ничего не ответил, убирая платок в карман и вытирая тыльной стороной ладони набежавшие слезы.

– А вы чайку с медком! – засуетилась вторая невестка, наваливаясь сзади грудями на плечи Акима и наливая в его чашку чай.

«Ну, молодцы девахи, – воспламенился пониманием свекор, – ай да сношеньки, ай да умницы, тудыт ихнюю маму!»

– Сейчас мы ваше превосходительство попарим и почивать уложим, – обрадовался вовремя поданной разумной мысли Изот. – От хорошей баньки всякая хворь убежит, как турок от Суворова, – вспомнил он давешнего крестьянина-симуса и подхватил барина под мышки, помогая подняться.

Аким безропотно подчинился, как ребенок строгой матери, и, медленно перебирая ногами, пошел к двери.

Ласковое майское солнышко приятно грело больную грудь, и Рубанов, щурясь, присел на лавку рядом с домом. От прогретой за день земли исходил теплый, душистый запах. Лес успокаивающе шумел над головой прорезавшимся из почек свежим молодым зеленым листом. Огромная яркая бабочка, часто затрепетав крылышками перед лицом, села на плечо. Весенний ветерок, балуясь, сдул с плеча бабочку и закрутил у ног Акима какой-то старый, пожелтевший лист, прилепив его к носу дремавшего неподалеку рыжего пса. Тот недовольно чихнул, лапой прижав его к земле, затем встал, громко, с подвывом, зевнул, широко разевая пасть, потянулся, прогибая то передние, то задние лапы, хотел помочиться на листок, но, раздумав, плюхнулся рядом с ним; затем, глядя исподлобья на Акима, вяло постучал по земле хвостом, встал, встряхнулся, начиная от ушей и заканчивая хвостом, и побрел в тень под деревья.

Рубанов с пробудившимся интересом наблюдал за псом.

Впервые за время болезни, приметив в глазах барина хоть какой-то интерес, Изот Михеевич не торопил и не отвлекал его, а с надеждой стоял рядом, нахохлившись и напоминая

огромного рыжего шмеля. Его сыны молча таскали в баню березовые веники и какие-то узлы – из одного торчали две свечи, из другого – горлышко бутылки.

Вздыхнув, Аким тяжело поднялся и пошел вслед за ними. Интерес к окружающему опять исчез из его глаз.

То ли душу его забрала ледяная река, то ли заела тоска, но он чувствовал себя старше деда... И не только чувствовал, но знал точно, что круг его скоро замкнется... Что отмахался он острой саблей, отскакал на быстром коне и отлюбил прекрасных женщин, что все это там, в прошлом, а что впереди?..

Но что бы там ни было – он не боялся этого!..

Поддерживаемый Михеичем, Рубанов выбрался из темного сруба бани и тут же наткнулся на сына и его друга. Лица мальчишек покраснели от бега и радости жизни. Счастье и весна бушевали в глазах и будоражили кровь... Поглядев на взрослых и не увидев их, ребята кинулись в конюшню взнуздывать коней и улетели в ночь – к звездам и небу, к жизни и подвигам... Зависть кольнула сердце Акима и тут же растаяла, когда глянул вслед сыну...

Сгорбившись и опираясь на руку деда, он безразлично пошел в дом, в приготовленную для него комнату.

К счастью Максима, отец, как и до болезни, вновь стал уделять ему внимание. Вдосталь набегавшись с Кешкой, он слушал прерываемые кашлем рассказы отца о боях и победах, а однажды у Акима хватило сил взять саблю и показать свой коронный выпад и удар, не раз спасавший ему жизнь. Максим до изнеможения отработывал его, рубя в щепки молодые березки, и до седьмого пота вращал саблю, разрабатывая кисть.

– Укрепляй запястье! – хрипло внушал отец. – Пригодится в жизни...

Через неделю вернулись домой, и Аким снова замкнулся и ушел в себя. Дома царили тишина и тоска. Мать ходила в слезах, а нянька возилась со своими снадобьями. Максим старался больше времени проводить на улице – чистил своего любимца, вороного жеребца Гришку, или, взяв ломоть черного хлеба с солью, исчезал на весь день на реке. Там глядел, как крестьяне ловят рыбу, валялся на песке, нежась на горячем уже солнце, и упражнялся с саблей, решив до совершенства отработать отцовский удар.

Молодая кровь бурлила в нем, заставляя неожиданно срываться и лететь на коне, а то вдруг находила непонятная хандра, и он, хмурый и вялый, сидел в своей комнате, разглядывал золотой крестик, дышал на него, оттирая рукавом рубахи, и в памяти возникала хрупкая девочка с прекрасными зелеными глазами.

День проходил за днем в скучной деревенской глуши, где никогда ничего не меняется, и, пролети хоть десяток лет, все останется по-прежнему.

Как-то, пошлявшись по двору, он заглянул в конюшню и переждал там небольшой теплый дождь, расчесывая пальцами жесткую конскую гриву. Выйдя, помыл руки в дождевой воде, налившейся с крыши в разохшуюся бочку. Пряно пахло жимолостью и цветущей акацией. Беспечно насвистывая, пошел по двору, бесцельно заглянув в сарай, в котором ничего не было, кроме прошлогоднего сена. Хотел уже выйти из душной темноты, как расслышал чье-то посапывание: «Нищие, что ли?» – любопытствовал он и полез по лестнице на невысокий чердак. Его привыкшие к темноте глаза различили чьи-то ноги, бесстыже разметавшиеся на сене. Стараясь не шуметь и лишь тихонько шурша сеном, подошел к спящей. Голова ее была повернута вбок, к дощатой стене, рот чуть приоткрылся, показывая белые ровные зубы. Спокойное дыхание чуть волновало грудь, и голубая жилка билась на шее, пульсируя в такт дыханию.

Максим опустил на колени, стараясь не разбудить Акульку.

«Напрасно я боюсь, – подумал он, – намаялась она сегодня – не скоро разбудишь! – Но дыхание, словно нарочно, вырывалось из его горла громко и часто, временами ему даже казалось, что задыхается. Сердце стучало на весь сарай. Он прижал руку к груди, чтобы немного успокоиться. – А вдруг кто зайдет? Может, она тут Данилу ждет? – А рука, пугливо вздрагивая, уже расстегивала синий, в мелкий цветочек ситец, освобождая маленькую грудь.

Он робко потрогал теплую шишечку, венчающую эту сказочную грудь, и неожиданно, словно живой, сосок стал набухать и жестеть под его пальцами. Это было так поразительно, что Максим пугливо отдернул руку: «У тех женщин в бане, – морща лоб, начал вспоминать, – соски так не росли... не то что так, а вообще никак не росли». – Опять несильно сжал сосок, а затем с любопытством потрогал окружающий его темный кружок, различив вздрагивающими пальцами, ставшими неожиданно очень чувствительными, маленькие пупырышки.

Пальцы его двинулись дальше, тихонько поглаживая грудь. Здесь кожа была нежная и гладкая: «Как у моего Гришки губы», – подумал он и хихикнул от этого сравнения. Неожиданно молодка как-то обиженно, по-детски, всхлипнула, и голова ее еще дальше повернулась в сторону, а зубы сомкнулись, прикусив соломинку. Голубая жилка на шее бешено пульсировала, набухнув от крови. Взмахнув руками, словно решила взлететь, она забросила их за голову, чуть не задев отпрянувшего Максима.

Затаив дыхание, он глянул на молодицу – вдруг проснулась?

Такая же набухшая вена билась у него на виске, причиняя просто физическую боль. С трудом, в несколько приемов, он выдохнул воздух и положил руки на свои колени, пытаясь успокоиться.

«Нет, спит!» – обрадовался Максим. Сердце стало биться ровнее, боль в голове прошла. Восстановив дыхание, опять потянулся к ней, уловив слабый запах пота, исходящий от волос под мышкой. Он глубоко вздохнул, вбирая в себя этот запах и пытаясь понять, что он пробуждает. На миг ему показалось, что Акулька открыла глаза, но нет, это просто трепетали веки.

Плавной рукой, он отогнал нахальную муху, решившую отдохнуть на ее щеке, и резко задрал вверх, к бедрам, подол юбки. Сначала барчук ничего не увидел, кроме поднятой мелкой пыли, кружащейся в неожиданно появившемся солнечном луче, падавшем на ее бедро. Молодичка опять зашевелилась, поудобнее укладываясь, и еще шире разбросала ноги, поймав луч низом живота, и Максим ясно увидел черные курчавые волосы, густо покрывавшие лобок.

Живот спящей девки задергался, то втягиваясь внутрь, то рывками поднимаясь вверх. Она застонала, но тут же зачмокала губами, словно во сне.

На секунду отвлекшись, он посмотрел ей в лицо – голова уже не была запрокинута, и ему показалось, что зубы покусывают нижнюю губу. Страх его прошел, и ему стало все равно, проснется она или нет, он даже желал, чтобы она проснулась, но все же вздрогнул, когда ее рука обхватила его плечи. А потом, в экстазе, спеша и от этого путаясь, стал расстегивать пуговицы на рубашке... Что было дальше, заслонил какой-то туман...

Фыркнув и обозвав его неопытным дитятей, Акулька спустилась вниз, оставив Максима переживать свой промах.

Успокоился он неожиданно быстро, видимо, действительно был еще ребенком. Поймав ладонью солнечный луч, восстановил в памяти увиденную красоту, и прямо-таки волчий аппетит заставил его слезть с чердака и побежать в дом.

Обед никто и не думал подавать. Мать одиноко сидела в своей комнате, пытаясь наигрывать что-то грустное на клавикордах. Она даже не повернула головы в сторону сына, когда тот заглянул в раскрытую дверь.

Ольга Николаевна, как только Агафон привез замерзшего и чуть не утонувшего мужа, сразу же поняла причину... Первой ее мыслью было пойти на реку и броситься в эту же полынью. Но хлопоты и уход за больным мужем отодвинули эту мысль в самые дальние уголки сознания. Она знала, что за всю свою жизнь не сумеет выпросить прощения, хотя в душе давно

раскаялась и забыла генерала, словно его никогда и не было: «Великий грех, – молилась она, стоя на коленях перед образами, – лишать себя живота! Сейчас на мне один грех, а станет два. Один еще как-нибудь отмолю, а два – Бог не простит...»

Спали они с мужем в разных комнатах, и постепенно у нее вошло в привычку выпивать перед сном маленькую рюмочку домашней настойки или сладкого вина: «После него спится крепче!» – оправдывала себя. Она вся ушла в переживания, выискивая оправдания своему поступку и, главное, находя их.

В последнее время в особый фавор у нее попал Данила. Ей нравилась его степенная деревенская речь, его рассуждения о добродетели и грехе, о добре и зле, о погоде и видах на урожай. Он один не осуждал ее, лишь в его глазах она не читала презрения... Недавно барыня первый раз в жизни надавала по щекам Акулине – девчонка имела наглость встретиться с ней взглядом и не отвести глаз: «Это вызов!» – думала она.

Данила успокаивал ее. Его слова усыпляли совесть и заставляли глядеть на мир по-иному. Он своей рукой наливал ей рюмочку вина и уходил по делам, оставляя ее умиротворенной и сильной. Временами барыня даже ожидала его прихода и сердилась, ежели он долго не появлялся.

Когда Лукерья вздумала при ней обругать Данилу, она резко оборвала старушку и отошла куда-то по делам. Временами Ольга Николаевна удивлялась себе: что это с ней происходит? Но тут же рюмочка, а следом другая давали блаженство и успокаивали совесть.

Ее муж даже словом не обмолвился, что все знает и презирает ее, но когда она заходила в комнату, чтобы поправить подушку или спросить о здоровье, он молча отворачивался к окну или к стене, всем своим видом давая понять, что она тут лишняя, что ее присутствие тяготит его. Кормила больного и лечила целебными настоями старая нянька. Лишь из ее рук принимал он пищу и лекарства. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже...

Одно время казалось, что здоровье возвращается. После недели, проведенной у лесника, на щеках заиграл легкий румянец и начал возвращаться аппетит, но по приезде домой все это вмиг ушло, и болезнь больше не отступала.

В конце лета он уже не поднимался с постели. Что отец умирает, понял даже Максим. Его сердце сжималось, когда заходил к нему в комнату и видел заострившиеся скулы и тусклые глаза, из которых медленно уходила жизнь!.. Он бы все отдал, чтобы помочь отцу и облегчить страдания, но единственное, что мог, – это не подавать вида, как ему тяжело.

Часто после разговоров с отцом убегал в тот самый сарай, где, как считал, стал мужчиной, и долго-долго рыдал, зарываясь лицом в сено и царапая кожу колкими стебельками. Физическая боль приносила внутреннее облегчение. Стерев кровь со щеки или губы, он постепенно успокаивался, напускал на себя веселый вид и брел в дом; и ежели отец звал его, то, раздвигая губы вымученной улыбкой, шел к нему, стараясь показать своим видом, что все идет неплохо, а в дальнейшем станет еще лучше...

Но лучше не становилось... И как-то, накрыв теплую руку сына своей ледяной ладонью, Аким долго молча глядел на него, стараясь вобрать в себя эти родные черты, эти глаза и детские припухлые губы, чтобы не забыть их ТАМ!..

Смерть его не пугала. Он много повидал ее в жизни, но жаль было оставлять без отцовской поддержки неопытного и беззащитного сына; жаль было оставлять родительский дом, родную Рубановку и милые дедовские акации...

Он посмотрел в раскрытое окно на красное заходящее солнце и розовое, в его лучах, облако. Легкий ветерок, пошелестев салфеткой на столе, принес в комнату запах уходящего лета: скошенной на лугах травы, яблок из ароматных садов и меда с гречишных полей...

Как не хотелось все это покидать!

Желтый лист, покружив по комнате, плавно опустился на грудь больного. Выпустив руку сына, Аким осторожно взял листок и поднес к глазам, внимательно разглядывая прожилки на

желтой поверхности, потом, счастливо жмурясь, с удовольствием понюхал, медленно пропуская воздух в легкие, чтобы не раскашляться, и нежно погладил вялую засыхающую поверхность, бережно положив его рядом с собой.

Максим с удивлением глядел на отца – дался ему этот лист, чего в нем нашел интересного?

Голос отца стал тих и слаб...

– Я скоро уйду!.. – Он поднял руку, чтобы остановить готовые сорваться с губ сына слова возражения. – И вот тебе мой наказ... Я написал друзьям – они помогут... Ты должен стать офицером! Все Рубановы были военными, правда, выше капитана или ротмистра не поднимались и богатства не скопили... Да это и не важно! Важно – Родину защищать!.. Станешь воевать – а этого не минует – и забросит тебя судьба в Австрию, найди деревушку Зальцбург и поле за ней, вот на том поле у реки перед мостом и закопаешь сей орден. – Слабой рукой пошарил под подушкой и протянул звезду «Святого равноапостольного князя Владимира». – А в-третьих, ежели сумеешь, отомсти врагу моему, генералу Ромашову. Даже на смертном одре не могу я простить ему...

Максим удивленно поднял брови. Отец надолго замолчал.

Неожиданно слабая улыбка тронула губы больного.

– Самая сладкая месть – женись на его дочери!

Максим непроизвольно коснулся золотого крестика на своей груди.

– Это будет для генерала огромным ударом! – Аким в изнеможении откинул голову на подушку. – А теперь поцелуй меня... И ступай пригласи священника – причаститься хочу...

Стараясь незаметно стереть слезу, Максим пошел к двери.

Последнюю свою ночь на этой земле Аким Рубанов не спал!..

Он блаженствовал, слыша победные боевые трубы...

Красивый и крепкий, летел на коне, ловя благосклонные взоры синих глаз императрицы Екатерины, серых – императора Павла и голубых – Александра...

А затем перед его взором простерлась бесконечно длинная дорога со следами сапог, конских копыт и орудийных колес...

Это была последняя дорога из всех, истоптанных им... И он одиноко шел по ней!

И последнее, что увидел или почувствовал, – это силуэт артиллерийского капитана, медленно поднимающегося вверх, к небу, и растворяющегося в плотном утреннем тумане...

И АКИМ ПОШЕЛ ЗА НИМ!!!

Его соборовали...

Он лежал под образами в прекрасном гусарском мундире, и горевшая лампадка отбрасывала тусклую тень на его лицо. Между большим и указательным пальцем правой руки светился огонек свечи. Поднимавшееся солнце затмило лампадку со свечой, и его яркие лучи подбирались к покойнику.

Ольга Николаевна велела зашторить окна и зажечь побольше свечей... В комнате было душно от набившихся бородатых мужиков-крестьян и их жен. Они усердно кланялись в молитве, прощаясь с барином. Время от времени раздавались женские всхлипы. Ожидали из Чернавки старичка-священника.

В сарае Агафон с Данилой спешно ладили гроб.

Максим убежал в сад подальше ото всех: от матери, няньки, дворовых – и долго, без слез и в молчании, лежал на теплой земле, в нервном ознобе вздрагивая плечами.

Когда его нашли и привели в дом, священник торжественно служил панихиду... Максим, с трудом переставляя ноги, подошел к отцу и прижался губами к холодному и жесткому лбу, затем на шаг отступил и, то ли из-за горевшей лампадки, а может, свечи отбрасывали столь

причудливую тень, но ему показалось, что губы отца чуть раздвинулись в улыбке, успокаивая и поддерживая его...

Схоронив мужа, Ольга Николаевна как-то сразу успокоилась... Раскаяние перестало угнетать ее – каяться теперь не перед кем! «Сын еще маленький и ничего не понимает», – думала она, а чувствовать себя виноватой перед крепостными ей, столбовой дворянке, не к лицу.

Постепенно она расцвела и стала следить за собой. Клавикорды звучали веселее, возобновились занятия французским с сыном, и однажды она даже поймала себя на мысли, что ей скучно без генерала, что она жалеет об его отъезде. Ее даже бросило в жар и стало стыдно за эти греховные мысли.

Нянька осуждающе качала головой – еще сорока дней не прошло, а барыня веселится, но сказать в глаза боялась: «Какая-то дочка стала не такая! – думала Лукерья. – Да и этого долдона Данилу что-то очень привечать начала... Ох, не доведет это ее до добра, не доведет, – переживала старая мамка и иногда даже плакала, обняв Максима и называя его сиротинушкой.

Он стал тих и задумчив... Опять прилежно занимался французским с маменькой, счетом и письмом с чернавским дьячком, но с особым тщанием, помня наказ отца, тренировался за конюшней в стрельбе из пистоля и без усталости крутил саблю, развивая запястье.

На сороковины, несмотря на непролазную грязь, из далекого блестящего Петербурга прибыли отцовы друзья: князь Петр Голицын и командир гусарского полка Василий Михайлович. Максим с восторгом смотрел на них, любясь ладной формой и боевым видом. Они казались выходцами из другого мира, недоступного для него, – мира, где сражаются с врагами, ухаживают за дамами и танцуют на балах.

Даже толстый полковник вызывал в нем неизбывное чувство восторга, не говоря уже о стройном красавце-ротмистре, чем-то неуловимо напоминавшем отца.

Как хотелось бросить этот дом и деревню, и умчаться с ними в неизведанную новую жизнь. Он согласен был чистить их лошадей, только бы взяли его с собой: «И чего отец вернулся сюда, в эту скучную Рубановку?» – недоумевал Максим.

Гусары галантно раскланялись с Ольгой Николаевной и приложились к ее ручке.

С таким же восторгом, как и сын, она глядела на военных и вздыхала от жгучей зависти к их женам, живущим где-то там, в недоступной мечте, где есть театры, опера, балы и блестящие гвардейские офицеры...

Офицеры наперебой ухаживали за дамой – подвигали ей кресло, целовали руки, накидывали на плечи шаль. И бесконечно говорили об Акиме...

Вечером дом сиял от многочисленных свечей, зажженных в зале.

Дворовые не понимали – сороковины в усадьбе или бал?!

– Годовой запас сожгут! – бурчала нянька.

Агафон был доволен: выпивки сколько душе угодно.

Данила, напротив, хмурился: ему не нравилось, как барыня смотрит на приезжих.

Поминали Акима. Разговоры, как всегда, начались с воспоминаний о походах и стычках. Голоса военных звенели сталью гусарских сабель, а фразы были резки, словно команды. Пили привезенное шампанское, домашние наливки, а под конец лениво тянули водку, закусывая хрустящей рубановской капусткой. Устав сидеть за столом, отправлялись в конюшню поглядеть на лошадей. Максим показывал им свое умение стрелять из пистолета и управляться с саблей.

– Весь в отца! – хвалили парня офицеры. – Знатный гусар получится.

Сердце его пело от этих слов.

Замерзнув, возвращались в гостиную, разговор возобновлялся, снова наполнялись бокалы, дым от трубок поднимался к потолку, и вот уже вместе с ними Максим сражался на

полях Австрии и Италии. Господи! Как ему хотелось уехать в столицу и, поступив на службу, стать таким же элегантным и храбрым офицером как князь.

Утром запрягли лошадей, и гости поехали на кладбище. Приезжие сделались строги, угрюмы и сосредоточенны. Склонив головы, стояли они перед простым свежим крестом, и Максим увидел, как тяжелые мужские слезы, стекая по щекам, теряются в их бравых усах. Стояли молча, и каждый думал о своем.

Затем похмельный Агафон, кряхтя и шумно выдергивая ноги из грязи, прибил к кресту дощечку с надписью и отошел, любуясь своей работой. Поворотившись, поглядел на гостей, ожидая стаканчика с водочкой или, на худой конец, хотя бы слов одобрения... Не дождавшись ни того ни другого, грустно вздохнул и устался на доску, пытаясь понять ее смысл и уразуметь значение таинственных букв и цифр.

На следующий день гости уехали, пообещав на прощание Максиму, что займутся его судьбой...

Но дни шли за днями, а никакой весточки из Петербурга не приходило. Почтовые кареты не привозили депешу с вызовом или письмо, срочно требующее его приезда в столицу.

Жить стало намного тоскливее, чем раньше.

Максим снова привык к тишине и, вспоминая отца, иногда украдкой смахивал слезы.

От матери все чаще и чаще пахивало хмельным. Ольга Николаевна все больше времени проводила с Данилой.

Новый, 1807 год встретил безрадостно и скучно, ожидая письма из Петербурга, которого все не было.

– Да дите ты еще! Куда тебе в гусары? – обнимала его нянька, стараясь поддержать и успокоить. – Потерпи еще годок-другой, успеешь саблей-то намахаться...

«Так и состаришься здесь! – грустил Максим. – А для нее все дите будешь...»

19 февраля ему исполнилось четырнадцать лет! День начался так же однообразно, как и вереница предыдущих. Со смертью отца что-то важное ушло из души Максима. Не стало прежнего веселья и радости... Нянька прибаловала, и Ольга Николаевна отправила ее в деревню. А может, болезнь была лишь поводом: барыня чувствовала себя неуютно под осуждающим взглядом Лукерьи.

Акулина сбилась с ног, готовя угощение. Барыня, чувствуя вину перед сыном, хотела хоть как-то оправдать себя и решила шумно отпраздновать его четырнадцатилетие. Но никто из соседей приехать не смог или не захотел. Разозлившись, она с обеда уже начала отмечать рождение сына, и вскоре верный Данила помог ей добраться до спальни. Акулина, заделавшись ключницей, от злости на изменника Данилу напоила Агафона, и тот, заметно кренясь, отправился в конюшню задать корм лошадям и больше не появился: «Видно, споткнулся о вилы, а встать сил не нашлось», – подумала девка. Напившись чаю, она тоже направилась отдохнуть. С утра натоплено было на славу, и сон быстро сморил ее.

Максим от безделья слонялся по дому, думая, чем бы заняться. Случайно открыв дверь в горницу, где спала прислуга, он замер в восторге: Акулина лежала в постели во всей своей красоте. На ней была лишь белая рубаха, сбившаяся на широко разбросанных ногах и открывшая взору Максима когда-то виденные им белые бедра и черные завитки в низу живота. Тихонько прикрыв за собой дверь, он шагнул в комнату. На этот раз, открыв глаза и увидев барчука, девка не притворилась спящей. Неизвестно, что двигало ей, – то ли злость на своего дружка, то ли желание отомстить барыне, а скорее всего, деревенская зимняя скука и выпитая наливка, но, приподнимаясь на постели, она сама протянула к нему руки и прильнула к теплому телу...

– Не торопись, барчук, – только и успела произнести, смятая его бешеным напором.

На этот раз он удивил ее...

Сначала Акулина старалась сдерживать стоны наслаждения, но через какое-то время перестала владеть собой и кричала уже в голос, забыв, где она и с кем. Благо, что никто ее не услышал...

Когда все закончилось, она лишь сумела произнести: такого я еще не испытывала, с восхищением посмотрела на новорождённого и сочно чмокнула в щеку.

Максим, напротив, остался разочарован!

«И чего это Акулька вопила как дура? – недоумевал он. – Поди пойми этих баб...»

А письма из Петербурга все не было и не было, и он перестал ждать... Боль от потери отца постепенно притупилась – жизнь брала свое. Летом он вместе с Кешкой ездил в ночное, скакал на коне не хуже взрослого и неплохо отточил коронный отцовский удар. Акулину вскоре мать неизвестно за что тоже отправила в деревню, и в доме теперь прислуживали две пожилые женщины довольно-таки невзрачного вида. Данила не мог на них глядеть без зубовного скрежета и содрогания... Максиму было все равно: Акулина успела ему надоест. Агафон напивался до того, что, запрягши одного жеребца, доказывал, будто их в оглоблях три, за что, по приказу барыни, получал розог от Данилы на родной своей конюшне. Самой заветной его мечтой стало отплатить той же монетой «этому проклятому Данилке».

За лето Максим вытянулся и возмужал, превратившись из отрока в стройного привлекательного юношу. В годовщину смерти отца Агафон вез его на погост в новой бричке, которую молодой барин надумал обкатать. Неподалеку от кладбища в желтеющей уже липовой аллее он заметил парочку, медленно идущую к большаку и беспрестанно целующуюся. Женщина была в белом платье и шляпке, мужчина – в красной рубашке, синих штанах, заправленных в сапоги, и картузе, который снимал всякий раз, наклоняясь к лицу женщины.

Каково же было его изумление, а затем горечь и гнев, когда разобрал, что это мать и Данила... Он давно слышал перешептывания челяди и крестьян, намеки Акулины, но по молодости или по глупости не обращал внимания на пересуды, да и не верилось, что мать, схоронив мужа, тут же найдет себе любовника, да еще из простых мужиков. Он с Акулькой – другое дело...

Увидев сына, Ольга Николаевна поначалу растерялась, и краска стыда залила ее лицо. Но на кладбище она уже помянула мужа, поэтому быстро взяла себя в руки и стала придумывать, что сказать в оправдание. Максим, не обращая внимания на мать, вырвал кнут из рук Агафона и, к его неописуемому восторгу, принялся охаживать Данилу. Тот попытался поймать больно жалящий плетеный кожаный жгут.

– Не смей! – грозным окриком остановил его Максим и так глянул побелевшими от ярости отцовскими глазами на пытавшуюся заступиться мать, что она испуганно отпрянула в тень лип и затаилась там.

Войдя в раж, Максим сбил с ног здорового мужика, даже не удивившись этому, и продолжал полосовать его, пока от усталости не заломило руку. Видя, что барин выдыхается, Агафон решил оказать содействие.

– Не так, не так, – бережно взял кнут из вялой уже руки и несколько раз перетянул с оттяжкой дергавшееся от каждого удара тело.

Это была самая счастливая минута в его жизни!..

И лишь на пятнадцатилетие нежданно-негаданно пришел пакет. Будущее Максима хранилось в тонком синем конверте, залапанном пьяными почтарями, под тремя сургучными печатями с расплывшимися вензелями. Он много раз в своих мечтах переживал этот момент, но не думал, что все будет так буднично. Артиллеристы не подкатали пушки и не салютовали, не гремел гром, и не сверкали молнии, а зимнее солнце спряталось за серую невзрачную тучку, которая, как ни тужилась, не сумела выдавить из себя даже махонькую одинокую снежинку.

Словом, никаких катаклизмов, но конверт-то был в его руках... Он мог мять его, нюхать... «Это не сон! Господи! – трясущимися руками рвал бумагу. – Только бы не проснуться...» – Сломанный сургуч упал к его ногам...

Сборы были не долги! Проводить молодого барина пришли Лукерья и Акулина. Они-то, попеременно выбегая из дома, и нагружали припасами сани. Мать участия в сборах не принимала. Вот уже полгода, как она почти не разговаривала с сыном. Ждала и надеялась, что он первый придет просить прощения, но так и не дождалась. Поэтому особой тоски и грусти не испытывала и, ужасаясь себе, в душе радовалась, что он наконец уезжает, оставляя ее полноправной хозяйкой. Средств на дорогу выделила самую малость: «Пусть сам заботится, а то больно высокого мнения о себе стал...»

Старая нянька, напротив, так и заливалась слезами, думая, что видит свою кровиночку в последний раз.

– Да чего ты плачешь? – стараясь выглядеть бодрым, спросил ее Максим.

Неожиданно ему тоже стало жаль расставаться с дедовским домом, с деревней и с устоявшейся жизнью. Сердце беспокойно забилось от страха перед неизвестностью, но барчук отогнал от себя грустные мысли.

– Нет, я счастлив, я очень счастлив, – твердил он.

Агафону поручено было доставить его в Петербург.

Выпив на дорожку, так, самую малость, чтоб не озябнуть, он значительно сидел в санях и оглядывался по сторонам, ища взглядом Данилу. Но тот проводить молодого барина не вышел.

– Спасивец чертов! – ругался Агафон. – Ничего, мы тебя еще обломаем...

– Матерь Божья! Сохрани раба Твоего Максима, под Святым Покровом Твоим! Да сопутствует ему ангел Господен; да ослепит он очи врагов, да соблюдет его здоровым, невредимым и сохранит от всякого бедствия! Аминь! – крестила дитятку нянька.

Вслед за ней простилась Акулина, и все-таки вышедшая на крыльцо мать. Она холодно поцеловала сына на прощание и, зябко передернув плечами, ушла в дом. Нянька, утирая слезы, махала рукой до тех пор, пока сани не скрылись из виду.

– Ничего! Доберемся не спеша! – подбадривал Агафон, время от времени доставая из-за пазухи бутылку пшеничной. – А то с этими почтовыми – деньжищ уйма уйдет, да и жулье там одно, – с удовольствием приложился к горлышку и громко чмокнул губами, оторвавшись от него через довольно приличный отрезок времени. Лошади, подумав, что чмокают им, пошли быстрее, бодро размахивая хвостами.

Максим сидел, закутавшись в пыльную медвежью шубу, и глазел на родные места: «Жалко с Кешкой не простился, – пригорюнился было он. – Да ничего, еще свидимся...»

Зима в этом году была нехолодная и малоснежная. Сани ходко шли по накатанной колее.

В столицу прибыли почти в середине марта. За эти три недели Максим увидел больше, чем за всю прожитую жизнь: «Ай, да и обширна Россия, держава наша!» – любопытными глазами смотрел на города и села, через которые вез его Агафон. Кучер когда-то по молодости поездил-поскитался по матушке-России и теперь с важным видом рассказывал о местах, по которым они проезжали.

Петербург просто потряс Максима своим великолепием – дворцами, высокими каменными домами и широкими бульварами.

– Да-а, барин, это вам не Рубановка! – философски изрек Агафон с таким видом, будто он тут все и построил.

Но пока искали дом князя Голицына, его матерно облаял городской и перетянул плетью куда-то торопящийся гусар. Так что к вечеру, когда разыскали нужное место, настроение у Агафона стало не такое бодрое, и даже Даниле в его воспоминаниях стали присущи некоторые

человеческие черты. Рубановка уже казалась много милее этого безразличного необъятного города.

Трехэтажный дворец князя Голицына был ярко освещен огнями. Робя, Максим поднялся по широким ступеням. Его, оказывается, ждали, и лакей, услышав имя, тут же повел приезжего к барину. Проходя через ярко освещенные свечами залы, Максим поражался богатству и роскоши обстановки. Дом генерала Ромашова, в сравнении с этим великолепием, казался убогой конурой. Князь встретил его запросто, как старинного знакомого и приятеля, расцеловав в обе щеки и осмотрев со всех сторон, кажется, остался доволен.

Через некоторое время в кабинет влетела и княгиня. Она сразу глянулась Максиму своей простотой и непосредственностью. Гибкая и невысокая, она порхала вокруг гостя и всплескивала руками.

– Да вас одеть, мон шер,⁷ по-модному, какой жених станете! – щебетала она. – Высок, строен, красив, что еще надобно?

Князь с улыбкой наблюдал за женой и был счастлив, что ей пришлось по-сердцу сын покойного товарища.

– Ну, положим, дорогая, для службы в кирасирах он не высок. Там самый маленький тянет на два аршина девять вершков.⁸ Ну ничего, ему совсем чуть-чуть осталось подрасти.

– А эта восхитительная мушка в углу рта сведет с ума не одну девицу, – не слушала его жена.

Ее тонкие руки, от которых так приятно пахло, обхватили голову юноши и повернули к свету. Максим растерянно улыбнулся. Княгиня в восторге захлопала в ладоши:

– Какие прелестные ямочки на щеках. Почаще улыбайтесь, мой друг, и женщины сделают вас генералом... Завтра я закажу ему платье и покажу Петербург, – обернулась к князю Петру, – вот знакомые удивятся! – загорелась она.

– Извини, дорогая! У нас немного другая программа, – поцеловал жену в лоб. – Молодой барин несколько задержался, поэтому завтра утром нам следует быть в канцелярии лейб-гвардии Конного полка... А столицу ему покажешь, как станет офицером...

Пожилой лакей, учтиво поклонившись, отвел Максима в отведенную комнату. Слуги здесь были дисциплинированные и вышколены, не то что в его Рубановке. Заснул он неожиданно быстро, и улыбка не сходила с его лица даже во сне.

Несколько чинов канцелярии лейб-гвардии Конного полка прилежно скрипели перьями, даже не подняв глаз на вошедших. Из кабинета заместителя командира полка вылетел красный и взъерошенный старший писарь и опрометью помчался через всю канцелярию за вестовым, чтобы передать ему приказ полковника.

Ротмистр довольно улыбнулся:

– Служба идет! – хлопнул по плечу Максима, чтобы подбодрить парня. – А наш дражайший Михайло Андреевич, похоже, сегодня не в духе. Замещает командира полка генерал-майора Янковича. Редко, но такое с ним происходит...

Подойдя к двери кабинета, они услышали тяжелые нетерпеливые шаги и звяканье графина с водой.

– Наверное, вчера в гостях побывал, – князь подмигнул по-мальчишески Рубанову и прошел в кабинет. Следом протиснулся и Максим.

– Здравия желаю, Арсеньев! – по-свойски пожал протянутую руку ротмистр. – Гляди, какого я тебе гвардейца привел...

⁷ Мой милый. (фр.).

⁸ 1 метр 82 сантиметра.

Полковник мрачно, исподлобья уставился на Максима. У того аж мурашки по спине пробежали.

– Да не хмурься, командир, – развалился в кресле Голицын. – Это тот самый юнкерок, за которого мы с Василием Михайловичем просили тебя...

Взгляд полковника смягчился. Максим встал во фрунт и не дышал.

– Полагаю, росту чуть не хватает? – выпив воды из стакана, налитого еще до их прихода, Арсеньев сел за стол.

– Вытянется за лето, господин полковник, – легкомысленно махнул рукой Голицын. – Делов-то... А чего в раздражении?

Полковник снова нахмурился и резко поднялся из-за стола. Князь пожалел о своем вопросе.

– В раздражении – мягко еще сказано, ротмистр! – хриплым, сорванным от команд голосом загремел Арсеньев. – Да я его, каналью, растопчу... Манеж мне покрасил кое-как! – Нервно заметался по кабинету.

В дверях появилась голова старшего писаря и тут же исчезла.

– В Сибирь каналью сошлю. От самого государя императора нареkanie получил!..

Голицын понял, что речь идет о воре-подрядчике. Но этот вопрос не интересовал его.

– Главное, Михайло Андреевич, полученная вами высочайшая благодарность за смотр, а этот пустяк быстро забудется, – попытался успокоить полковника. – Эка невидаль – манеж облупился! У нас и не то в полку случилось...

Конногвардейский полковник подошел к настольному колокольчику.

– Командира второго эскадрона ко мне! – велел залетевшему в кабинет старшему писарю.

Пока вестовой разыскивал эскадронного, Михаил Андреевич несколько успокоился и уже, добродушно разглядывая Максима, с удовольствием рассказывал ему о коннице вообще и гвардейском полку, в котором выпало счастье служить будущему юнкеру. При этом он безостановочно передвигался по кабинету из угла в угол. Ходьба успокаивала его.

– Русская регулярная конница делится по своему боевому предназначению на тяжелую, легкую и драгун. Самая боевая и мощная – это, конечно, тяжелая, – иронично посмотрел на гусарского ротмистра, – в которой тебе и придется служить, – перевел взгляд на Рубанова. – Кирасиры предназначены для атаки сомкнутым строем, способным смять и повернуть в бегство любые построения вражеской пехоты.

– Но ежели вы такие грозные мужчины, почему же государь не велит носить офицерам усов? – обиделся за легкую кавалерию Голицын и гордо пригладил свои небольшие аккуратные усики.

– Настоящего офицера и без усов видно! – парировал полковник, постепенно приходивший в хорошее расположение духа. – А гусаров к мужчинам только по усам и можно отнести...

Тут уже нахмурился Голицын.

– Гусарские да уланские полки наряду с казаками нужны для аванпостов и разведочной службы, а не для настоящего сражения... Вот государь и разрешил вам усы носить, – обернулся к Голицыну, – дабы в лесу хорошо маскироваться и за елку сходить! – басовито засмеялся своей шутке полковник.

Тут уже не выдержал ротмистр. Яростно вскочил со стула и только открыл рот, чтобы заступиться за гусар, как в дверь постучали, и у порога вытянулся командир второго эскадрона.

– Про драгун и конноегерские полки сам узнаешь, – произнес полковник и мановением руки усадил князя в кресло. – Барон Вайцман, вы были ответственны за покраску манежа?

Огромный немец стоял навывтяжку, выкатив глаза. Лицо его медленно, начиная со лба, покрывалось бледностью.

– Прошу садиться, – милостиво разрешил Арсеньев, выдержав достаточную, на его взгляд, воспитательную паузу.

Ровным шагом, как положено по уставу, кладя на пол целиком огромную свою ступню, гремя шпорами на весь кабинет и даже канцелярию, барон пошел к стулу.

«У канцеляристов, наверное, бумаги вместе со столами подпрыгивают», – подумал Максим, поглядывая на немца. Он ему сразу не понравился. С первого взгляда... Не понравились его белесые свинячьи ресницы под узкими светлыми бровями, белая, почти прозрачная кожа, пустые оловянные бесцветные глаза, массивная шея и узкий лоб с ниспадающими на него прядами редких белокурых волос. Не понравилась его механическая походка, не понравился он весь...

Между тем вошедший ротмистр, прижав строго по правилу левой рукой шляпу и палаш к неподвижному корпусу, подошел к стулу, коротким движением отвел палаш и, сев совершенно прямо, стал есть глазами начальство.

Голицын жалостливо глянул на Максима и тут же отвернулся к окну, недовольно сморщив нос: «Не мог к другому командиру направить, – неприязненно подумал о немце. – Ну да ничего, в обиду не дам! – стал успокаивать себя. – ...И службу парень лучше поймет...»

– Господин ротмистр! – гремел в кабинете голос полковника. – Вам в ученье отдается сей юноша, сын боевого командира и кавалера, прошу вас сделать из него опытного кирасира, а в последующем – и офицера, способного постоять за честь России и лейб-гвардии Конного полка... – Барон, словно заводной, кивал головой. – А за манеж спрошу с вас отдельно, – закончил на строгой ноте Михаил Андреевич. – Идите, и завтра чтоб юнкер был обмундирован и приступил к службе. Жить будет в казарме, успеет еще на мягких постелях понежиться...

Голицын не думал, что прямо сегодня его воспитанника заберут, но перечить не стал: «От жены, конечно, получу выговор», – со вздохом подумал он, подходя к Максиму и обнимая его за плечи.

– Отца у тебя нет, я стану заместо него! – значительно взглянул на немца: «Авось, не посмеет обидеть...» – как-то по-солдатски подумал он. – Ну что тебе еще сказать... Служи достойно!.. – перекрестил его князь.

На улице Максима пробрал холод – весна выдалась поздняя, ночью ударили крепкие заморозки, и снег таять не желал. А может, знобило его от волнения.

Плац, через который они проходили с Вайцманом, был не просто чистый, а вылизанный.

– Делать мне нечего, как юнкерами заниматься, – услышал Максим недовольное бормотание немца. – Скоро надо проверку обмундирования проводить, амуниции и оружия, – бурчал тот себе под нос, – а тут новое задание... а еще предстоит осмотр повозок произвести и ковку лошадей проследить, – стал загибать ротмистр пальцы, видно для того, чтобы новый рекрут понял, сколько у командира дел, и не вешал на него новых проблем. – Только и сиди над эскадронными ведомостями и списками, – наконец пришли они на квартиру ротмистра, которую он снимал у какого-то купца.

Барон, расстегнув колет, тяжело опустился на диван, заскрипевший под его грузным телом, и велел денщику мигом позвать вахмистра и унтера Шалфеева. Рубанову сесть не разрешил. Пока денщик исполнял поручение, ротмистр придирчиво осмотрел уставшего будущего кирасира и явно остался чем-то недоволен. Взгляд его и весь вид как бы говорили: «Поблажек от меня не жди... Узнаешь почем фунт лиха, как любят выражаться русские».

– Кирасир не должен сутулиться, – с остзейским акцентом начал он. – И глядеть на начальника должен прямо, весело и преданно, как положено по уставу...

Максим попытался смотреть по уставу, но что-то у него явно не получалось. Скорее всего, не хватало веселья и преданности! Барон, недовольно шурясь, прошелся по комнате, обмахиваясь платком.

– Где этот чертов вахмистр! – не успел произнести он, как в дверь постучали, и на пороге возник запыхавшийся «чертов вахмистр», а за ним маячили фигуры денщика и унтера... При-

чем денщик, расталкивая остальных плечами, первым порывался доложить об исполнении приказа.

Но вахмистр, отстранив настырного денщика – высокого и худого хохла с загнутыми книзу усами, переступил порог и, глядя прямо и делая веселую и преданную рожу, громко и четко доложил: «Честь имею явиться, ваше высокоблагородие!»

Вайцман благосклонно кивнул головой и торжествующе поглядел на Максима – «Вот как надо!» – казалось, говорило его лицо, – а затем поманил пальцем унтера, подбежавшего к нему и вытянувшегося во фронт.

– Желая тебе поручать сего юнкера строю и езде обучать!

– Рад стараться, ваше высокоблагородие! – рывкнул унтер, не поняв толком, что сказал ротмистр.

– А особо подготовь его к пешей экзерсиции: к стойке, поворотам, маршировке тихим и скорым шагом по метроному. Это есть самое главное!.. Этот унтер, господин юнкер, является эскадронным флигельманом – ставится на учении перед строем как живой образец, с которого все должны копировать каждое движение и тщательно выполнять приемы. Он-то научит вас выправке позы и правильному шагу, – достал из кармана внушительный хронометр. Лицо его засветилось вдохновением. – А ну-ка, унтер, покажи рекруту... – И полчаса с удовольствием, до пота, гонял того по комнате медленным и скорым шагом. – Ногу выше, носочек тяни – хорошо-о! – блаженствовал ротмистр. – Вот так, господин юнкер, каждое движение полировать надо... Часами! Это вам не пажеский корпус, а лучший эскадрон Конногвардейского полка. Вольно! – остановил выдохшегося унтера и обратился к нему: – Научишь, конечно, рубке палашом, езде в одиночку и строем, уходу за конем, да чтобы сам не только кормил и чистил, но и гриву выщипывал, хвост подрезал и щетки подпаливал... И ежели плохо мне его обучишь, – заорал, картавя, – шкуру спущу, мерзавец, и галуны срежу. Чтобы он у тебя все знал, как «Отче наш» русские знают. Ступайте! – устало брякнулся на диван.

На улице кирасиры расслабились и перестали казаться тупыми дураками.

– Строгий командёр! – утер пот со лба Шалфеев.

Пройдя полковой двор, вахмистр, унтер и Рубанов оказались в просторной казарме с двухъярусными койками.

– Сейчас место съедем, – чесал в затылке вахмистр. – А тебе, Шалфеев, завтра приказ принесу. Нынче неохота еще раз к командиру идти, а то и меня маршировать заставит, – хохотнул он. – Унтер болезненно поморщился и потер ноги. – Заниматься будешь с утра до обеда, – продолжил вахмистр, – после обеда пусть уставы учит, а вечером – приводит себя в порядок к следующему дню. Ну, прощайте! – ушел он в свою каморку.

Обмундировка на следующий день, конечно, не поспела – подобрали ее через два дня. Форма рассчитана была на крупного мужика, поэтому висела и морщила на юном худом теле вновь испеченного юнкера. Но Рубанов все равно был горд и доволен. Не видя рядом эскадронного командира, он воспрянул духом и любовался своим белым колетом, ботфортами и черной кожаной каской с высоким плоским гребнем из черной конской щетины. Черная же с красным кантом двадцатипятифунтовая⁹ кираса показалась Максиму тяжелой, но Шалфеев сказал, что пока одевать ее не придется. В учебе она не нужна. Так как погода не баловала, Максим получил еще и шинель из некрашеного сукна, которую полагалось одевать под кирасу. Кроме того, для работы в конюшне выдали однобортный китель, схожий с офицерским сюртуком, пошитый из белого коломенка – плотной полотняной ткани типа парусины – и фуражку с околышем приборного цвета и белой тульей. На околыше стояли литеры и цифры, обозначавшие номер эскадрона: «2 э» – значилось на фуражке Рубанова. Кроме белых лосин выдали также серые походные рейтузы, подшитые черными кожаными леями.

⁹ 10 килограммов.

Но особенно затрепетало юное сердце, когда расписался в ведомости о получении палаша. Он долго любовался стальным клинком, то и дело выдергивая его из ножен.

На следующий день приступили к занятиям. После утренней поверки Шалфеев повел сонного юнкера в конюшню – показать ему коня, на котором тому предстояло обучаться. Лошадей Максим не боялся и любил. Протянув краюху соленого хлеба к мягким конским губам, погладил холку и похлопал по крупу. Справившись с горбушкой, конь потянулся губами к руке Максима.

– Ишь какой лакомка! – весело засмеялся Рубанов. – Завтра еще принесу. И с ходу назвал жеребца Гришкой, как и своего, оставленного дома. Вспомнив о Рубановке, невнимательно слушал унтера, показывающего, как положено седлать скакуна.

– Всё понял? – вывел его из задумчивости Шалфеев.

Вздвигнув, Максим отвлекся от мыслей об Агафоне, который, должно быть, отправился уже в обратный путь: «Домой, конечно, попадет не раньше лета. В пути ему предстоит поменять полозья на колеса, которые надлежит купить на ярмарке, но деньги он уже пропил, значит, будет подрабатывать на подвозе или у кого-нибудь сопрет...»

Расседлав и снова оседлав коня, молодой юнкер потренировался закладывать трензель и мундштук, а затем перешел к чистке. Шалфеев показал, как работают щеткой и скребницей. Все это было для Рубанова не ново. Эту науку он постиг быстро.

Затем, разнуздав Гришку и привязав к кольцу, унтер показал во дворе конюшни позитуру и стойку, как делают фрунт и снимают фуражку. Чистившие и выводившие лошадей кирасиры весело ржали, наблюдая за уроком, и давали дурацкие советы.

Но Максим не обижался на этих огромных гвардейцев...

Хотя он выглядел среди них, как тонкая веточка среди крепких дубов, но в умении решил не отставать от ветеранов, отслуживших десять лет и более. Поэтому занимался самозабвенно, внимательно слушая своего «дядьку» и не отвлекаясь больше на Агафона.

После обеда, который даже не доел, Максим получил от вахмистра для изучения «Наставление» и пыльные уставы.

– Вот, сынок, постигай науку, чтоб от зубов отскакивала, а наперед открой на любой странице и спроси меня. – Круглое в морщинах лицо его приняло задумчиво-внимательное выражение, серые глаза закатились к потолку, а толстые губы плотно сомкнулись в ожидании...

Максим полистал «Наставление». Оно состояло из четырех глав: о выезде, уходе за лошадью, езде и владении оружием. Наугад открыв страницу, он задал вопрос:

– Как, господин вахмистр, надлежит обнажать палаш?

Неожиданно серые глаза вахмистра округлились от страха.

«Забыл!» – подумал Максим.

Огромная ручища наставника сжалась в кулак, имитируя выдергиванье палаша из ножен. Губы разжались и довольно растянулись в улыбке.

– Вынимать палаш надлежит в три темпа, – басовито начал отчитываться он, – перенося правую руку через левую, – шевелил вахмистр рукой, показывая, как это делается, – схватить рукоять и вынуть на полторы ладони...

– Ну, это легкий вопрос, – прервал его Максим, – а теперь из другой главы...

Вахмистр опять напустил внимание на свою круглую рожу.

– Как должно сидеть верхом?

– Ой! – охнул экзаменуемый и почесал в затылке. – Сейчас, сейчас скажу, юнкерок...

Сидя верхом должно иметь вид мужественный и важный, – затараторил он, снова закатив глаза к потолку и теребя пуговицу колета, – держать себя прямо сколько можно развязней и без малейшего принуждения...

– Словно на гальяне сидишь! – дополнил ответ подошедший унтер.

Но шутка вахмистру не понравилась.

– Ты смотри, Шалфеев, получишь в зубы! Ишь чего удумал... Боевую посадку с отсидкой в отхожем месте сравнивать взялся... Ежели б тебе юнкера не учить, всю ночь бы чистил нужник, – резко повернувшись и бережно положив устав на тумбочку, ушел в свою каморку.

– Чего начальника разозлил, Шалфеев? – подошел к ним смуглолицый важный ростом кирасир с синяком под глазом. – Видал, бланш какой поставили? – сверкнул он крупными, белыми зубами, среди которых не хватало двух передних. – Шмотри, и ты дошутишься! – прошепелявил он.

– Я уже по десятому году служу! – возмутился Шалфеев. – Поздно мне гляделки-то подбивать, а ты, Тимохин, еще зеленый, всего шестой год лямку тянешь, так что язык за зубами-то придерживай, чтоб не вывалился... А мы с вахмистром друзья, в стольких походах побывали, сколько у тебя и зубов во рту нет, – несколько прихвастнул он.

Недовольно зачмокав, щербатый кирасир тяжело полез на верхнюю койку, которая находилась над той, что отвели Максиму, и от нагрузки громко испортил воздух.

Унтер, мгновенно среагировав, оттащил юнкера к окну.

– Эх и вонючий черт! – выругался он. – Не повезло нам с тобой. Сколь прошу вахмистра, никак этого пердуна в другое место не переведет. Ну, теперь можно идти, – решил он минут через десять, боязливо и осторожно пробуя воздух носом по мере приближения.

Раздраженный Тимохин, видимо в отместку, поднатужился и долгим дребезжаньем снова отогнал кирасиров к окнам. После этого блаженно захрапел.

– Привыкай, юнкерок, – тяжело вздохнул Шалфеев. – Это тебе не дома. – Сев на табурет у койки, снял ботфорты и размотал портянки, издавшие запах почище тимохинского...

У Максима аж защипало в глазах.

Скомкав их в кучу, понюхал:

– Ничего еще! – сделал вывод. – Можно не стирать. – И, протянув руку, сунул под подушку Тимохину.

Больше всего на свете унтер Шалфеев гордился своим носом и поэтому часто нюхал воздух, чтобы все обратили на него внимание. Эта огромная картофелина с двумя вывернутыми гнездами занимала половину лица, побитого мелкими оспинами. В остальном все у него было нормально: и прекрасные ровные зубы, и мужественный подбородок, и ясные синие глаза... Но все это он не ценил, потому что в Зимнем дворце видел портрет императора Павла, отца ныне здравствующего государя, и у того тоже был вздернутый нос картошкой, только меньших размеров. И хотя во время дождя в походе кирасиры советовали ему заткнуть ноздри портянками, а дышать ртом, он лишь посмеивался над глупцами и гордо нес картофелину, роднящую его с императором.

Не только следующий день, но и вся неделя прошла в обучении седловке и чистке коня, в отработке поворотов, маршировке и стойке. Шалфеев пояснял, если видел ошибку, что следует делать с руками, ногами, животом, и юнкер все повторял, постепенно оттачивая движения.

Кирасиры уже не ржали, видя с каким упорством и азартом занимается этот дворянчик, а старались поддержать его и помочь.

Так, не прикладывая особых усилий, Максим добился расположения гвардейцев.

Потом начались уроки езды. Шалфеев сначала показал юнкеру требуемую крепость посадки. Молодой барчук думал, что выездка будет для него пустяком, так как в деревне не слезал с коня, но здесь требования к посадке и скачке были другие. Приходилось всему учиться заново.

Шалфеев слыл мастером своего дела. Прежде он сел на коня без седла, на одну попону, подложив под локти и колени по тонкой палочке, а Тимохин погнал коня на корде по кругу. Когда сделали пятнадцать кругов рысью, а затем двадцать галопом, остановились, и Максим с удивлением увидел, что все четыре палочки находятся на своих местах. Значит, ни колени, ни локти не теряли уставных положений.

– Вот как надо! – похвалил Тимохин, будто сам так четко выполнил упражнение.

Максим тоже попробовал ездить без стремян и поводьев, но тонкие прутики не держались на месте и выскакивали то из-под колена, то из-под локтя.

«Ничего, научусь!» – думал он, снова и снова скача на коне по кругу. И с каждым днем у него получалось все лучше и лучше.

Все кирасиры и Шалфеев знали, как болят после первых уроков непривычные еще ноги, от бедра до колена называемые у кавалеристов шлюссами. Но для успеха нужно было непрерывно укреплять мускулатуру и бесконечно повторять упражнения. Даже деревенские парни, призванные в кавалерию и, казалось бы, привыкшие к лошадям, ревели в голос по первому времени, пока мышцы не привыкали к нагрузке.

Максим терпел все молча и даже старался улыбаться, сидя верхом на коне. После этого конногвардейцы еще больше уважали барчука.

Приезжал проведать его князь Голицын и остался доволен успехами подопечного. Опытному кавалеристу сразу было видно, как старается и стремится всему научиться молоденький юнкер.

Ротмистр Вайцман в манеже не показывался больше недели. Полковой командир строго разобрался с ним, прислав, к радости Максима, на обучение еще двух юнкеров.

Барон метал громы и молнии, – только у себя дома, чтобы не дай бог, никто не услышал, что он не доволен приказом.

Страдал один лишь денщик Синепупенко, фамилию которого аккуратный немец никак не мог запомнить и правильно выговорить. А денщик, конечно, не смел поправить и молча терпел, сидя на кухне за чисткой картошки. Был он и Синепупенко, и Синепыпенко, а однажды утром барон назвал его Синеспаленко, но тут же осекся, побоявшись, что выдал военную тайну.

Один из юнкеров представился Рубанову Оболенским Григорием Владимировичем.

– Папà отправили на перевоспитание, – хмыкнул этот семнадцатилетний повеса в два аршина и двенадцать вершков¹⁰ ростом, не уступавший силой взрослым конногвардейцам.

– Тяжеленько вам будет лошадку подобрать! – с уважением почесывался вахмистр, в задумчивости кругля серые глаза.

Второй юнкер был тонок и строен, как и Максим, но немного выше ростом. Они чем-то неуловимо походили друг на друга, то ли густыми русыми волосами, то ли голубыми глазами, но внешность Максима отличалась большей мужественностью и твердостью. В чертах графа Сергея Нарышкина проглядывало что-то женственное, беспомощное и незащитное. С Максимом они были погодки.

Приехал он из Москвы и, в отличие от петербуржца Оболенского, служить в конногвардейском полку надумал сам, без какого-либо принуждения. Отец его – богатый московский барин – хотел оставить сыну кучера с коляской и снять квартиру, но юный граф пожелал хлебнуть всех трудностей солдатской жизни и решил остаться в казарме до получения офицерского чина. Отец его посчитал это блажью, но согласился с единственным своим отпрыском. Юный граф мечтал стать боевым генералом, а для этого требовалось, по его мнению, побольше жесткости.

Начали «их сиятельства» с того же, что и Рубанов: Вайцман приказал назначить им в «дядьки» по опытному кирасиру, отслужившему не менее десяти лет, – и те с удовольствием принялись за воспитание барчуков. Особую радость учителям доставляло то, что самих их освободили ото всех иных занятий и полковых дежурств.

К удивлению «дядек», нежный и слабый на вид Нарышкин легко перенес первые уроки езды, когда особенно ломили мышцы ног. А громадина Оболенский после занятий, на полу-

¹⁰ 1 метр 96 сантиметров.

согнутых добирался до казармы и плюхался на койку. Так же, на полусогнутых, добирался до стойла в конюшне несчастный его жеребец.

Ежели бы Оболенский обучался один, то скорее всего послал бы к черту и Вайцмана, и своего папá, продолжая лоботрясничать дальше, но ему было стыдно выказать слабость перед молоденькими юнкерами. Стиснув зубы, он занимался шагистикой, ездой, делал фрунт и даже читал «Наставление» и уставы.

Через три месяца новобранцы усвоили рекрутскую школу и сдали экзамены барону Вайцману. Причем знания юнкеров Рубанова и Нарышкина он отметил как полные и отменные.

Папá Оболенского перед экзаменом сына подарил барону прекрасную золотую табакерку с немецким ландшафтом и толстой фрау на крышке, и поэтому, морщась от ответов огромного юнкера по «Наставлению», ротмистр все же засчитал экзамен и ему.

В середине июня лейб-гвардии Конный полк отбыл под Стрельну «на травку», и весь личный состав расположился по деревням вокруг Стрельны. На следующий день после экзаменов барон Вайцман приказал юнкерам и их дядькам верхами следовать к полку, а сам отбыл в отпуск в Ревель, оставив за себя поручика Вебера, тоже немца.

Дядьки за три месяца учебы отдохнули и поправились, особенно дядька Оболенского. Он славился в полку тем, что в любое время суток при первой возможности старался уснуть, не важно как: лежа, сидя, а на посту – даже стоя. Когда в выходные конногвардейцев отпускали в увольнение, то рядовой старшего оклада при императоре Павле, а ныне младший унтер Егор Кузьмин по-быстрому покупал бутылку, пирогов с печенкой – по копейке за штуку – и сломя голову, упаси бог потерять минуту, летел в казарму спать. Проснувшись, отхлебывал водки, закусывал пирогом и скорее снова засыпал; но при всем том службу знал отменно и по зубам от Вайцмана получал редко – и то не за служебные упущения, а за сонные глаза, в которых не было преданности и веселья.

Дядька юнкера Нарышкина, Антип, спать не любил. Главное его отличие – абсолютная честность! Он совсем не умел врать, и это-то при внешности, которой позавидовал бы любой шинкарь или судейский чиновник. Из-под низко нависающего, в колечко, чуба цвета воронового крыла глядели хитрые глаза, которые, спроси любого, могли принадлежать лишь прохиндею... и не простому, а прожженному, опытному и изворотливому. Во всяком случае, если он покупал на копейку пирог, а давал две, продавец с уверенностью знал, что солдат хочет его надуть, и недоверчиво крутил монету, решая, не фальшивая ли она, а затем томительно, со вздохом, гадая, на чем же он пролетел, отсчитывал сдачу и долго еще смотрел вслед кирасиру, охлопывая себя по карманам...

Душа Антипа очень страдала от такого недоверия: «Не по-христиански это», – думал он, тяжело переживая подозрительность со стороны купца или прохожего. И по званию он все был рядовой, несмотря на десятилетний срок службы. Ротмистр сомневался в присвоении ему унтерского чина: «На чем-нибудь непременно попадетя!» – думал он.

Пока разбудили Кузьмина, получили дорожное довольствие, взнуздали коней и выехали, подошло время обеда.

Папá Оболенского за успешную сдачу сыном экзамена отвалил ему приличную сумму, и теперь деньги не давали покоя привыкшему к солдатскому быту князю.

– Даже Святую Пасху не праздновал!.. Всё уставы да выездка, – жаловался он.

Три юнкера ехали стремя в стремя, чуть сзади за ними бок о бок плелись на лошадях дядьки.

– Егорша! – толкнул дремлющего в седле Кузьмина Шалфеев, которому после казармы хотелось веселья и разговоров. – А ваши юнкера-то ничего, хоша и сиятельства... Простяги! – рассуждал он, зорко высматривая по сторонам начальство.

Кузьмин кивнул, не раскрывая глаз.

Выехали на набережную Мойки.

– Кто бы сказал мне, что на Пасху не выпью, на дуэль бы вызвал враля, – развивал тему здоровяк-юнкер. – Сколько церковных праздников пропустил... Жуть! – грустил он.

Его друзья ничего не отвечали, а только улыбались.

Максим с любопытством осматривался по сторонам:

– Три месяца в Петербурге, а еще нигде не был и ничего не видел, – вздыхал он.

– О-о-о! Вернемся – погуляем, – взбодрился Оболенский. – А то и я скоро все позабуду. Чего-то есть хочется, – увидел он трактир. – Друзья мои! Полагаю, следует посетить сие заведение с вывеской «Храбрый гренадер» и отметить постижение рекрутской науки. – Огромной рукой вытер пот со лба, выступивший от такой длинной речи, а может, и от жаркой погоды.

День действительно выдался солнечный и погожий. Упрашивать никого не пришлось. Дядьки остались во дворе привязывать коней и навешивать им торбы с овсом, а трое юнкеров двинулись в трактир. Гренадеров здесь не было, если не считать одноглазого хозяина в выцветшем зеленом сукна мундире с отпоротыми фельдфебельскими галунами. Отпорол он их с такой задумкой, чтобы свежее, не слинявшее под ними сукно указывало на его чин.

– Наверное, специально мундир на солнце держал, а потом галуны спорол, – предположил Максим.

– Чего желают-с господа юнкера? – поправил зеленую повязку на глазу хозяин.

– Отдельную комнату и стол на шесть персон! – забасил Оболенский. – И мигом у меня...

Сидели здесь в основном небогатые купцы, канцеляристы дворцового ведомства, берейторы, шорные и экипажные мастера из придворно-конюшенных зданий, находящихся неподалеку. Было душно и шумно.

– Что-что, а мухи здесь действительно гренадерские! – подал голос Нарышкин, брезгливо осматривая чадный кабак – успел уже привыкнуть к воинскому порядку.

Одноглазый хозяин, недовольно поглядывая на здоровяка Оболенского, выделил им столик в самой последней от входа комнате рядом с дверью на кухню: «А то как бы драку не учинили... – подумал он. – Знаю я этих спесивых конногвардейцев!»

– Вели нести всякого мяса, калачей, овощей и, главное, водки и шампанского, – распорядился князь, усаживаясь за стол и разглядывая зеленую мятую скатерть и треснутые тарелки.

– Хозяин явно не равнодушен к зеленому цвету, – сделал второе умозаключение Максим, косясь на низкий зеленый потолок и то ли крашенные, то ли в плесени зеленые стены.

Оболенскому, в отличие от Нарышкина, обстановка пришлась по вкусу: «На золоте и серебре всегда успею поесть! Кузина ахнет, когда расскажу...»

– Господа! Вам непременно следует познакомиться с моей кузиной... А вот и шампанское! – обрадовался он. – И за Пасху хватит, – оценил количество бутылок, – и за экзамен...

Одноглазый гренадер привел с улицы дядек. Недоверчиво окинув взглядом Антипа, похлопал себя по карману, чем плюнул тому в душу, и ушел распорядиться на кухню.

– Свечей вели принести побольше! – заорал вслед Оболенский, обратив внимание на два оплывших огарка в медном позеленевшем подсвечнике.

Дядьки перекрестились на темно-зеленый угол и чинно расселись за столом. Кузьмин тут же задремал, а Шалфеев проникся к себе огромным почтением, втянув мясной дух, идущий с кухни: «Вот, пожалуйста, с их сиятельствами за одним столом сажу!» – Бережно потер нос.

Половые в зеленых рубахах принесли жареную говядину и курятину, слава Богу, свойственного им цвета. Оболенский разливал юнкерам шампанское из зеленой бутылки.

– А вы, дядьки, водку пейте, не жалейте! – поднялся он из-за стола. – За Святую Пасху! – произнес первый тост, с жадностью опрокинув в себя шампанское.

Рубанов с Нарышкиным тоже с удовольствием освежились холодным, с ледника, напитком.

– Господа! – поднялся Рубанов, снова наполнив стакан. – За дядек и за рекрутскую науку...

Потом пили за «Наставление» и отдельно за каждый устав. Предложение Оболенского пить за каждую главу в уставе отвергли. Пили за крепость посадки и чтоб рысаки не хромали...

При свете новых свечей было видно блаженство, растекающееся по лицу Оболенского, но из добродушного настроения его вывел огрызок огурца, залетевший к ним из соседней комнаты.

– Ага! – грозно поднялся он из-за стола. – Кто тут не уважает лейб-гвардии Конный полк? – пошел разбираться в помещение, из которого доносился гул голосов и звон посуды.

На белом его колете расплывалось винное пятно.

В прокуренной каморке гуляло с десяток писарей из канцелярии кавалергардского полка.

– Что, чернильницы ходячие, отмечаете удачное списание овса?! – загремел князь и, не дав им опомниться, ловко выбил ногой табурет из-под жирной задницы ближайшего писаря. – Я вам покажу, как огурцами в конногвардейцев метать. – Врезал в челюсть попытавшемуся что-то объяснить унтеру.

Писари дружно бросились на обидчика, но к юнкеру уже подоспела подмога... После выпитого шампанского и водки Максим чувствовал себя львом. И не каким-нибудь завалящим, рядовым, а крепким и отважным... С победным воплем влетел он в самую гущу боя, за ним кинулись трое дядек. Битва развернулась нешуточная, так как бойцы росту были саженого.

В кавалергарды, даже в канцелярию, хлипких тоже не брали. Численный перевес писарей нейтрализовался огромными княжескими кулаками и особенно его буйным нравом.

– Погибель! Погибель заведению пришла... – всполошено крутился рядом с бойцами хозяин «Храброго гренадера». – Кирасиры, разбегайтесь! – верещал он. – Я уже за будочниками послал...

Но в пылу битвы его никто не слушал, а чтобы не мешал веселиться, из свалки вылетел громадный кулак, провонявший махрой, и подбил отставному фельдфебелю оставшийся в наличии глаз.

– Карау-у-ул! – завыл храбрый гренадер. – Убивают заслуженного ветерана... – Прижал ладонь к драгоценному глазу. – Турки око оставили, так свои норовят вышибить. – Махнув рукой на заведение, ретировался на кухню ставить примочки.

Последним в сражение вступил Нарышкин. Какое-то время он стоял на пороге комнаты, нервно сжимая кулаки и не решаясь кого-нибудь ударить. Но выбравшийся из свалки запыхавшийся писарь, увидев перед собой конногвардейца, без раздумий смазал ему по лицу.

– Ой! – схватился граф за нос и, отняв руку, увидел на ладони кровь. Дворянская гордость множества поколений предков выиграла в нем, и с криком: «Ах ты, крыса канцелярская!» – он заехал обидчику в ухо, но этого показалось недостаточно, чтобы смыть позор унижения с оскорбленной фамилии, и он принялся мутузить кавалергардского писаря и слева, и справа. Перестал он его валтузить лишь когда увидел перед собой будочника – худого, лядашего узкоплечего мужичка, которому тут же вlepил по носу.

Взвыв, будочник грохнулся на загаженный пол. Двое его товарищей кинулись на бунтовщика, и плохо бы пришлось неопытному в кулачном бою графу, ежели бы на помощь не подошел Оболенский. Схватив будочников за затылки, он крепко саданул их лбами, заорав на весь кабак: «Христос воскрес!»

Но у будочников это было самое неуязвимое место!.. Тупо помаргивая глазками, они все же устояли на ногах. Со словами «Воистину воскрес!» удивленному князю пришлось повто-

ритель процедуру, и лишь после второго соприкосновения крепкоголовые будочники рухнули на пол.

Максим в это время обрабатывал кварталного – пожилого толстого мужика. Гордо окинув взором полнейший разгром и уничтожение противника по всему фронту, Оболенский решил оставить поле боя.

– Быстро коней готовьте! – велел он дядькам, отрывая Максима от кварталного. – За мной, юнкера! – гаркнул князь, подхватив приятелей под руки и потащив их через кухню на выход.

Наткнувшись на несчастного хозяина, державшего мокрую тряпицу у глаза, произнес: «Слепым надо помогать...» – и сунул ему в руку пачку ассигнаций, на которые можно было купить еще одного «храброго гренадера» и в придачу какого-нибудь не менее «храброго драгуна».

Лицо несчастного тут же посветлело.

– По Аптекарскому скачите, да на Неву по Мраморному, а я их задержу.

В летний лагерь не спешили...

Вечером остановились на постоялом дворе под Петербургом. Опять прилично выпили, но драк больше не учиняли.

После мордобоя у Оболенского было возвышенное настроение и он жизнерадостно рассказывал приятелям, как выходил стенка на стенку со своими крепостными и какое это удовольствие – кулачный бой.

Жару следующего дня переживали на берегу небольшого заросшего кувшинками и камышом пруда. Вода в нем имела такой отвратительный-зеленый цвет, что могла понравиться лишь лягушкам да хозяину «Храброго гренадера». Искупаться, несмотря на жару и страшное похмелье, никто не решился.

Вечером, с наступлением прохлады, поехали дальше. Заночевали на постоялом дворе. В Стрельну въезжали на следующий день после обеда. Тихая сельская идиллия поразила юнкеров. Часть конногвардейцев занималась крестьянским трудом – поливала и пропалывала огород. Увидев приезжих, распрямили спины и приветствовали их радостным гогомом.

Шалфееву пришла в голову мысль: прежде чем докладываться Веберу, искупаться.

– Господа юнкера и уважаемые дядьки, смоем с себя пыль, пот и похмелье.

Предложение было доброжелательно принято.

В небольшом заливе стоял шум, напоминающий приветствие кирасирским полком генерала на вахтпараде. Несколько десятков гвардейцев купались и занимались стиркой исподнего.

В стороне от них, на мостках, бабы в высоко задранных юбках били деревянными вальками белье, визжали и перекрикивались с голыми кирасирами.

Приехавших радостно приветствовали.

– Ждорово, пропадущие! – подбежал к ним Тимохин – у него уже не было третьего зуба. – Вебер ваш жаждався...

– А пошел он! – чертыхнулся Оболенский. – И ты вместе с ним, пока воздух не испортил.

Шалфеев, не тратя времени на разговоры, разделся донага и кинулся в воду.

– Ух, хорошо! – взвыл на весь залив.

– Будет тебе хорошо, когда к Веберу попадешь! – отошел от них Тимохин.

Саженками, далеко выбрасывая руки и, словно рыба-кит, которого видел на картинке, выдувая ноздрями вверх фонтаны воды, Шалфеев целеустремленно плыл к бабам. Возле мостков под хохот и визг женщин сначала продемонстрировал себя, нырнув вниз животом и высоко вскинув над водой белую задницу, а затем проплыл рядом с мостками на спине. Молодицы отворачивались и хихикали. Пожилые тетки беззлобно плевали и норовили огреть мокрым

бельем, а одна молодуха в задранной до самых бедер юбке подошла к краю мостков, повернулась к нему спиной и нагнулась, якобы что-то поднять.

Взглянув на нее, Шалфеев захлебнулся, затем на метр брызнул ноздрями воду и с воплем: «Спаситя-я!» плавно пошел ко дну, предварительно перевернувшись на спину.

Его боевой товарищ, словно гребень на каске, какое-то время маячил на поверхности, а затем солидно и не спеша нырнул вслед за хозяином. Некоторые конногвардейцы устояли на ногах, но большинство попадало от восторга в воду.

Молодица гордо пошла по мосткам, виляя широкими бедрами, однако не удержалась и обмолвилась при уходе, что на такую приманку ни одна плотвичка не клюнет.

Спасать утопленника и правда никто из женщин не кинулся, и пришлось всплывать самому. Вынырнув, унтер долго глядел вслед молодой бабе. Сердце его на все лето принадлежало ей.

– Эй, православные! Исподнее потеряете, – осадил вахмистр развеселившихся конногвардейцев. – А ты, Степан, – обратился к Шалфееву, – подашь мне рапорт, чего там увидел, ежели чуть не потоп.

Кто еще стоял на ногах, повалились от смеха в воду.

В чувство конногвардейцев привел не вахмистр, а раздетый Оболенский.

– Вот это да-а-а! – поднимались они из воды, с восхищением рассматривая юнкера.

– Княжеская вешть! – хвастливо изрек его дядька, будто сокровище принадлежало ему.

В это время заржал рубановский конь, выплескивая под копыта мощную струю.

– Собрата признал! – засмеялся Максим.

Уперев руки в бока и расставив крепкие ноги, Оболенский спокойно переждал ажиотаж и не спеша зашел в воду. Даже на мостках прекратились гвалт и шум, и наступила восторженная тишина.

Посрамленный Шалфеев поплыл к братьям по полу, но, не удержавшись, все же шумнул женщинам:

– Бабоньки, о чем задумались, сердешные?.. И чего это вальки гладите, жалко ими колотить стало?!

Отсмеявшись, женщины с удвоенной энергией застучали по белью. Нарышкин раздеться до конца не осмелился и молча краснел, слушая соленые шутки.

Поручик встретил их действительно строго.

– Вы еще вчера в эскадрон должны были прибыть! – бушевал он, махая кулаками перед лицами дядек.

Шалфеев отстранял свой нос, раздумывая как бы в случае чего подставить скулу или ухо. Юнкера безразлично глядели в потолок.

– Никакой дисциплины! Ну, я вам покажу!..

– Уверен, смотреть там не на что! – буркнул Оболенский, ни к кому конкретно не обращаясь.

– Мол-ч-а-а-ть! – задохнулся от крика Вебер и забегал по маленькой горенке, которую снимал у местного священника.

В дверь заглянула перепуганная попадьа. Немец махнул в ее сторону рукой, и она тут же, словно нечистая сила, исчезла.

– Я лично вами займусь! – чуть успокоившись, продолжил он. – Завтра заступите в караул. Все! Все шестеро. После караула, с утра, занятия с эскадроном строевой ездой, а после обеда изучаете уставы эскадронного и полкового учения. Каждую пятницу лично буду проверять ваши знания...

Оболенский сразу сник.

– В дни, когда не будет эскадронных занятий, станете заниматься выездкой с дядьками. И это еще не все, – торжествовал поручик, расхаживая перед ними и заложив руки за спину.

Даже дядьки перестали смотреть на него преданно и весело.

– Нет, не всё! – радостно покивал головой и потер руки. – Как будущим командирам, вам надлежит уметь составлять расчет караула и дневальства по эскадрону. Передадите вахмистру, что я велел ему с вами заняться составлением различных отчетов. Даже таких, как наряды на косьбу и сушку сена, на прополку и поливку огорода. Отдыхать больше не придется. Служить будете! – он блаженно зажмурился. – Ви поняль?! – неожиданным акцентом тут же испортил всю картину.

– Так точно! – за всех гаркнул Максим. – Ми поняль!..

Оболенский с Нарышкиным хохотнули, но тут же оборвали смех. Дядьки, на свое счастье, сдержались.

– Ах! Вам этого мало? – взвился поручик. – Ну ничего... Жить будете неподалеку от меня, у вдовой купчихи, – на этот раз захихикал он, – за вами глаз да глаз нужен...

Юнкера пожали плечами, а дядьки в ужасе выпучили глаза.

– Это такая стерва! – объясняли они по пути к дому. – Вишь?! Никто у ней не поселился... Жрать не готовит, а ежели чего сварит, так после с нужника не слезешь. Мужа, говорят, отравила, паскуда... Орет хуже эскадронного начальства, не признавая чинов и званий. По ночам чего-то шумит, спать не дает, да еще у ей две дуры-дочки на музыке учатся играть... Бедные вы бедные! – жалели их дядьки.

– Это кого там черти принесли?! – зарычала вдова, когда прислуга доложила о пришедших.

Зарычала она в соседней комнате, но слышно было, будто находилась рядом.

– Вот это командный голос! – восхитился Максим.

У дядек нервы не выдержали, и они тут же позорно смотались, бросив юнкеров на произвол судьбы.

– Веди их сюда! – велела хозяйка.

Злорадные интонации так и рвались наружу.

Прислуга – пожилая, сухой комплекции тетка, провела юнкеров в залу.

Просторная комната эта, похоже, одновременно служила и спальней. В углу под обширным киотом стояла необъятная трехспальная кровать. Хозяйка сидела на диване с потертой кожей за круглым столом, покрытым скатертью с шелковой бахромой, и сверлила злыми глазами вошедших.

Максим с интересом огляделся по сторонам. На печке с отколовшимися изразцами стояли часы с медным арапом. Рядом висело зеркало с гипсовой арфой на верхней раме, в котором отражались кислые лица юнкеров. У круглого стола приткнулись два вместительных кресла. В дальнем углу тулились шкаф с полукруглыми дверцами и несколько стульев. По стенам висели масляные портреты женщин-императриц: Екатерины Великой и Елизаветы.

– Князь Оболенский! – склонив голову и щелкнув шпорами на рыжих нечищенных сапогах, представился юнкер.

Женщина, сморщив круглое лицо, мощно чихнула, задрожав телесами. Вначале завибрировали щеки, затем жирные плечи, не уступающие гвардейским, потом в резонанс вошли ведерные грудицы, необъятные бедра и толстые ноги – затряслись все восемь пудов ее веса. Вибрация передалась дивану, и потом наступила тишина...

– Будьте здоровы, тетенька! – тонким подхалимским голоском пожелал ей здравия Нарышкин.

Максим глупо хихикнул.

– Какая я тебе тетенька!? – по-медвежьи заревела купчиха.

«Похоже, не поверила, что я князь! – вздохнул Оболенский. – Папà велел бы выпороть ее на конюшне! – подумал он. – Ежели, конечно, нашел бы исполнителей».

– Коль не ко двору, то мы пошли, – радостно заявил Максим, поворачиваясь к двери.

– Стоять! – рявкнула бабища. – Никто тебя не отпускал. Марфа! Покажи комнаты господам, – распорядилась она, презрительно сморщив нос при слове «господа».

«Нашла себе жертвы, теперь не отделаешься!» – расстроился Рубанов.

– Того, кто князем назвался, в большой посели, а этих двоих – в маленькой. Да приберись в комнатах, лентяйка. Волосья-то повыдергиваю напрочь. Будешь с голой головой ходить...

– Уф! – юнкера облегченно вздохнули, покинув зал и слыша еще бурчание: «Растопались тут сапогами, пылищи-то подняли – страсть!» – снова раздался мощный чих.

– Немцы наши супротив нее – слабаки! – сделал вывод Максим, проходя через просторную грязную комнату с плесенью на стенах, с запахом сырости и почему-то сосновой смолки.

В углу под образами чуть теплилась лампадка, которая мгновенно загасла при хлопанье дверью. Из-за плотно закрытого окна в комнате было душно.

– Тут этот господин расположится, – кивнула на Оболенского Марфа. – А вы пройдемте в соседнюю, – открыла дверь и провела юнкеров в крохотную комнатку с растворенным окошком.

Здесь дышалось легче и было прохладнее.

– А вот эта дверь и лестница ведут на второй этаж, – объясняла служанка, – там хозяйкины дочери живут. Создания тихие и скромные. Не дай вам бог даже на нижнюю ступеньку поставить окаянную свою ножищу, – уже уходя, посоветовала она с угрозой в голосе.

Максим выглянул в маленькое оконце и увидел весь в зелени огород и несколько фруктовых деревьев. Нарышкин занял заголосивший под ним диван, оставив Максиму узкую койку с ржавыми железными каретками. На пыльном полу отпечатались следы сапог – сор, очевидно, не мели неделями. Через некоторое время к ним присоединился и князь. Недовольно побродив по комнате, он тоже выглянул в оконце, затем потер рукой по тесовому небольшому столику и уставившись на пыльный палец, возопил:

– Хотя бы чаю нам дадут откушать в этой берлоге?..

Но глас вопиющего не был услышан...

После захода солнца смурная служанка принесла свежее белье и застелила постели. К столу их так никто и не пригласил...

– Деньги-то у меня есть! Может, в Стрельне чего купим или в трактире поужинаем? – предложил Оболенский, но ответа не услышал. – А то что-то лень к этой корове идти чаю просить, – закончил он.

– Только ли из-за лени не желаете высочайшей аудиенции, князь? – подал голос со своей кровати Максим.

– Молчите, юнкер... Больше ни слова, а то вызову на дуэль! – покинул Оболенский их общество.

Спать легли натошак, но, к удивлению Рубанова, спалось на новом месте хорошо. Воздух в комнате удивительно посвежел и очистился, а трели соловьев привели в прекрасное настроение.

И только сыгравший утреннюю побудку¹¹ эскадронный трубач тут же все изгадил...

Быстро одевшись и поплескавшись у рукомойника, друзья побежали на место сбора.

– Воздух здесь чище, чем в Петербурге, – взнуздывая жеребца, делился своими мыслями Максим, пытаясь поднять настроение себе и друзьям.

Однако эскадронного трубача весьма удачно сменил поручик Вебер, сумевший обильно наплевать в чистые юнкерские души, придравшись к нечищенным сапогам.

¹¹ Сигнал к пробуждению.

– Вы еще не офицеры – денщиков иметь! – орал он. – Так что сами сапоги должны чистить... Или дядькам платите...

И пока проводил эскадронные учения по строевой езде, без конца придирался к голодным юнкерам.

После занятий, купив курицу, друзья помчались домой в предвкушении чудесного обеда, но хозяйки не оказалось.

– В лавке! – объяснила прислуга, недовольно поджимая губы. – А без ее разрешения готовить не стану, – повернулась и пошла в другую комнату.

– Стервы! Одни стервы здесь живут! – бесился Оболенский. – Были бы мужеского пола – на куски изрубил бы! – лупил куриной тушкой по столу.

Видя такое дело, дядьки накормили их пшенной кашей.

«А вечером в наряд идти! Какая служба на голодный желудок?..»

Лихо Вебер им с купчихой, ни к ночи будь помянута, напакостил...» – подумал Шалфеев.

На следующий день эскадронных занятий не предвиделось, и неумный Вебер велел дядькам заниматься с юнкерами выездкой индивидуально.

– Котел с собой возьмите, – попросил Оболенский дядек, – там и пообедаем.

Обучаться решили в нескольких верстах от Стрельны. По пути купили водки, фунт лука, три фунта мяса, картошки и хлеба. Место нашли приятное – в лесочке, на берегу пруда. Пока дядьки готовили на костре обед, юнкера, чтоб отвлечься и не сойти с ума, выкупались и млели на солнышке.

– А с другой стороны, вроде и неплохо... – потягивался сильным телом Оболенский.

В хозяйский дом не тянуло, еды хватало, поэтому засиделись у костра до глубокой ночи. Над прудом поднимался парок, деревья отражались в мутном зеркале воды. Иногда слышался слабый всплеск. Уставший за день пруд, казалось, отдыхал подобно юнкерам и дышал полной грудью. Где-то неподалеку защелкал и засвистел соловей. Стало прохладно. Конногвардейцы придвинулись поближе к огню.

– Егор! – по имени обратился к своему дядьке умиротворенный князь. – А налей-ка всем водки...

Отвлекшийся от раздумий Рубанов, уразумев, что не услышит ничего оригинального, вновь стал любоваться огнем... Но Егор, привалившись спиной к дереву и уронив голову на грудь, мирно спал.

– Давайте я, ваше сиятельство, – вызвался Шалфеев.

Стаканчиков было только три. Поэтому сначала выпили юнкера, а затем их дядьки. Ради такого случая соизволил проснуться даже Кузьмин.

Мягкий ветерок прошелестел в нежной зелени молодой березки. В отблесках костра мелькали мошкара и большая белая бабочка.

Юнкера замолчали и задумались. Максим, шевеля веткой угли, ясно, с нежной грустью вспомнил Рубановку, свой дом и мать: «Надо написать ей», – подумал он, разглядывая языки пламени.

Неясный лесной аромат бередил душу. Другие, казалось, чувствовали то же самое. Сверчок, словно опытный музыкант, выводил свою вечную мелодию, которая успокаивала и усыпляла. Мирно фыркали лошади и изредка трясли головами, отгоняя ночную приставучую зудящую мелочь.

Душа отдыхает и блаженствует в такие минуты...

Очнувшись, Максим потер глаза и радостно улыбнулся, ощутив себя в тихом и томном царстве ночи.

Природа дремала, наслаждаясь покоем и тишиной, иногда прерываемой сладкой соловьиной песней. Где-то рядом неуловимо витало счастье...

Решивший закурить Шалфеев нарушил тишину, доставая кiset.

– Степан! – обратился к нему Рубанов. – У них, – кивнул на юнкеров, – есть дома и вотчины, даже у меня хоть и небольшая, а все деревенька... Нам есть что терять!.. А за что воюешь ты, ежели не брать во внимание приказ и присягу?! За что ты сражался под Аустерлицем?..

Сощурившись от дыма, Шалфеев раскурил небольшую трубочку, задумался, выпустив густое облако, приведшее в трепет мошкарю, и медленно обвел вокруг себя рукой.

– За все это, барин... Чтобы пел соловей и цвела черемуха! И чтобы хоть изредка можно было вот так посидеть у костра, – чуть помолчав, промолвил он.

Максим пожал плечами:

– Я думал – за Бога, Царя и Отечество!..

– Так и я говорю об этом... Молоды вы еще, господин юнкер! – ласково улыбнулся Шалфеев. – Потом поймете...

Домой пришли под утро. И то, спасибо дядькам, доехав верхами до купеческого дома, они взяли юнкерских коней под уздцы и повели в конюшню. На стук долго не открывали, хотя на втором этаже горел свет. Наконец, дверь распахнулась, и перед ними предстала купчиха в сером капоте со свечой в руке и ядом на языке.

– Не успели к честной вдове на квартиру въехать, познакомиться чин чином, а уже блудуете, да еще по ночам спать не даете вдове и ее бедным девочкам, – отступила она в сторону, пропуская молодежь.

– Не нравится, скажите Веберу, и мы себе другую квартиру подыщем, – нахально ответил Максим, бочком протискиваясь мимо купчихи.

Отведя чуть в сторону подсвечник, женщина всей массой приплющила его к стене.

– Утомил ты меня! Молод старшим-то грубить... Молоко еще на губах не обсохло, – отступила на шаг от Рубанова, и он, лишенный какое-то время воздуха, чуть не рухнул на пол.

Оболенский, видя такие методы воспитания, поддержал друга:

– Он прав! Не кормите, даже чаем не напоили, кричите все время. Да моя воля, давно на конюшне пороты были бы... – Забрав у нее свечу, повторил ее же воспитательный прием, придавив грудью купчиху к стене.

Она только коротко охнула и замолчала, придушенная мужским телом. И Максиму даже показалось, что по лицу ее растекалось неопишное блаженство...

Уснули уже с восходом солнца. И как же мерзок был звук горна, созывающий конногвардейцев на молитву и утреннюю поверку.

– Губы мерзавцу палашом бы отрубил, – выразил общую мысль Нарышкин, с огромной тоской расставаясь с диваном.

Так прошла целая неделя. Вебер, казалось, забыл об их существовании. По дороге за село покупали водку, лук, хлеб и мясо. Пока дядьки готовили пищу, юнкера отсыпались на свежескошенном, быстро подсыхающем на солнце сене. Перед обедом с часок гоняли на лошадях, купались и выпивали по стаканчику водки, закусив ее луком.

Как-то домой приехали пораньше и сразу заметили, что в комнатах подметено и убрано.

– Другое дело! – обрадовались они.

«Не желает, чтоб мы съехали», – подумал Максим.

Но, как оказалось, радовались рано. Чаем их опять не напоили, да к тому же ближе к полуночи над головами раздалось пиликанье и скрежет – это купеческим дочкам пришла блажь музицировать.

– Гарпии чертовы! Какова курочка, таковы и цыплятки... – залез в ботфорты Максим и, наплевав на предупреждение Марфы, стал подниматься по некрашеным ступеням лестницы.

Подъем напоминал игру на клавикогдах. Каждая ступенька, словно клавиша, имела свою тональность. «Сейчас, сейчас я им...» – заставив резко пропищать последнюю, торкнулся в дверь – она оказалась не заперта, и шагнул в ярко освещенную гостиную.

Он не думал, что скажет, такая злость кипела и бурлила в нем, переливаясь из сердца в кулаки.

Поначалу Максим никого не увидел, свечи ослепили его, но игра прекратилась и кто-то хихикнул. Звук шел от стены. Он повернулся на голос и только тут осознал, что одет явно не для светского приема. Опустив глаза, увидел нечищенные ботфорты и заношенное исподнее. Где-то в стороне послышался новый язвительный смешок, кулаки разжались, ломать инструмент расхотелось.

– А мы все думаем, как смотрятся лейб-гвардии кирасиры в парадной белой форме? – вышла из мрака полная высокая фигура в светлой до пола ночной рубашке и заслонила свет. – А теперь, господин конногвардеец, прошу вас покинуть наше общество, пока мы не подняли шум и не вызвали на подмогу маменьку... – ехидно улыбнулась она, качнув полными грудями, и, подняв руку, указала на дверь.

Так и не вымолвив ни слова, растерявшийся Максим по музыкальным ступеням слетел вниз и, скинув ботфорты, бросился на постель, укрывшись простыней.

«Черт-дьявол! Вот опозорился», – подумал он и бодро улыбнулся вошедшему Оболенскому.

– Полагаю, на сегодня музыка закончена... Слышал, наверное, как я их отбрил? Нет?! – «Ну и слава Богу», – повернулся на бок лицом к распахнутому окну. «Полновата, конечно, но видная...» – вспомнил, засыпая, девичью фигуру.

Утром его разбудил не конногвардейский штаб-трубач, а веселое солнце, щекотавшее лучом в носу и гревшее щеки. Первое, что услышал, был радостный трезвон колоколов Стрельвенской церкви. Поднявшись и спустив ноги с кровати, перекрестился на иконку в углу комнаты и иронично хмыкнул, вспомнив вчерашний эпизод. По-быстрому умывшись, полуголый, наткнулся на недовольную прислугу, тащившую во двор большущий глиняный горшок.

– Тьфу! Бесстыдник! – сплюнула она, остановившись и поставив на пол горшок.

– Что за праздник сегодня, бабуля? – поинтересовался Максим, растираясь полотенцем.

Казалось, что служанка ожидала этого вопроса...

– Нехристи! Дедовских праздников не читите, вам бы только водку жрать, да девок щупать, ничего святого в молодых не осталось...

Максим понял, какую совершил глупость, но было уже поздно. Ненавязчиво попытался обойти служанку и исчезнуть, но узкий проход был надежно перекрыт глиняным горшком и старушкой.

– Чудотворную Владимирскую икону Божьей Матушки нонче празднуют, день мученицы Агриппины и мученика Евстохия, и иже с ними святителя Германа, архиепископа Казанского, – на едином дыхании выпалила она.

Набрав в иссохшую грудь новую порцию воздуха, продолжила:

– А еще в народе этот день зовется Аграфеной-купальницей, за ней идет Иван Купала, а еще через несколько дней – «Петры-Павлы».

«Воздух в ней закончился, значит, есть возможность проскочить» – решил Максим.

Одевались не спеша, затем, зевая во весь рот, вразвалку побрели в конюшню, где дядьки уже ждали их, причем вдвоем, без Шалфеева. Ехали шагом. Против церкви остановились. Покрестившись на колокольню, зашли в лавку, где купили водку, два фунта сала, фунт лука – как же без него, и четыре фунта ситного. Взгромоздясь на лошадей, направились на свое излюбленное место. Приехав, позавтракали водочкой, протолкнув ее луком и салом, и тут же завалились спать. Не успели закрыть глаз, как услышали храп Кузьмина.

Дядьке Нарышкина не спалось... Расположившись рядом с Максимом, он завистливо бубнил про счастливику Шалфеева, которому все-таки удалось захомутать молодуху.

– Сейчас, поди, ездит на не-е-й! А тут даже на праздник никакой самой завалиющей бабенки не предвидится... У нас в деревне репу сеяли в этот день. Эх и хороша репа была, – сменил он тему, – к водочке бы ее сейчас. – По-воровскому, внешность брала свое, плеснул в стаканчик из бутылки и залпом выпил, смущенно занюхав луком. – Старики говаривали: «Репа да горох и сеются про воров, – блаженно рыгнул он и смахнул слезу, вспомнив родную деревню: – Мимо девки да мимо репки так не пройдешь, – шутил бывало тятка, – кто ни пройдет – щипнет!». Он мечтательно сглотнул слюну – то ли на девку, то ли на репку – и тихонько запел: – Матушка репка, уродися крепка, ни густа, ни редка...

– ...Шупай девку с передка!.. – перебил его Максим. – Ты дашь сегодня поспать? .

– Ха-ха-ха! – заржал Оболенский. – А ну-ка повторите?..

– Девки, девахи идут! – засуетился Антип. – Ишь веники березовы заготавливают! Пойду подсоблю... У нас в деревне по эту пору сроду в бане парились. На Аграфену помыться следоват!.. – Оправив форму, стал подбираться к девкам.

Оболенский, усевшись на сене, протянул руку к водке. – Господа! – обратился к друзьям. – Как сказал бы Антип, не жалаете ли чеколдыкнуть?

Кузьмин раскрыл глаза, потратив на это адское усилие.

– К тебе это не относится, – успокоил его князь.

Нарышкин с Рубановым не прореагировали.

– Ну как хотите, юнкера! – Проглотил порцию и, выдохнув воздух, закусил луком. – Простой конногвардейский обед, – поднялся он. – Пойду гляну, куда уже второй дядька запропастился...

– К теткам, куда же еще? – плеснул немного водки в стакан Максим.

– Гы-гы-гы! – загоготал князь.

– И не гляну, а произведу рекогносцировку на местности – вы не мещанин, а конногвардеец, господин юнкер, – напустив строгость, отчитал его Нарышкин, вслед за Рубановым прикладываясь к стакану и громко хрустя луком.

– Вот что значит уставы не учить, ви меня поняль?! – так же хмуро уставился на Оболенского Максим.

– Ха-ха-ха! – отправился тот на рекогносцировку.

– Б-а-а-а, граф! Поправьте форму... одежды и лица... похоже, легкой иноходью к нам движутся бабы, тьфу! – дамы... Черт-дьявол, к тому же это дочери нашей пышнотелой вдовушки, – почесал Максим родинку в углу рта и, поднявшись, попытался привести в порядок одежду и волосы. – Встаньте, встаньте, граф. Совсем хорошие манеры забыли – дам надо встречать стоя, – поддержал качнувшегося и чуть не упавшего Нарышкина. – Серж! Неужели они до такой степени вас потрясли? А если так, то которая? Помладше – чур моя! – шагнул к восемнадцатилетней на вид девице с букетом полевых цветов.

Ее сестра смотрелась года на три-четыре старше и была чуть полнее. Росту они были одинакового, черные косы у обеих змеились по спинам. Правда, у старшей коса выглядела потолще. Карие их глаза насмешливо блуждали по лицам и фигурам юнкеров.

– Да они похожи, словно братья! – всплеснула руками более непосредственная младшая.

Нарышкин зацвел маковым цветом.

– Мадмуазель! – галантно поклонился, качнувшись в сторону, Рубанов. – Пардон! Букет мне?.. Мерси! – получил цветами по протянутой руке.

– Какой вы, право, нетерпеливый: то, не успев одеться, к дамам врываетесь, то норовите, не получив согласия, забрать цветы...

Если бы не выпитая водочка, то цветом лица Максим сравнялся бы с Нарышкиным.

– Атака и натиск – вот девиз конногвардейских юнкеров! – попробовал он выправить положение и захватить инициативу.

– А я и не знала, что у конногвардейцев принято ходить в атаку без штанов...

Старшая при этих словах, прикрыв рот ладонью, хихикнула.

«В матушку пошла – такая же ведьма!» – натянуто улыбнулся Максим и опять попытался галантно поклониться.

– Лейб-гвардейцам штаны лишь помеха, ежели дама в ночной рубахе...

На этот раз покраснела она, а сестра опять хихикнула, прикрыв рот. Воспользовавшись кратковременным смятением в стане врага, Максим сумел забрать цветы и понюхал их.

– Полагаю, матушку на подмогу вызывать не станете?!

Но его вопрос пропустили мимо ушей.

– Приятнее лука пахнут?..

«О-о-о! Какая стерва. Я должен ее непременно обломать», – решил он.

Услышав про лук, Нарышкин автоматически, как до этого старшая купеческая дочь, прикрыв рот ладонью.

– Благодаря вашей экономной маменьке скоро, как лошадки, и вовсе на травку перейдем.

Рубанов записал в рот букет и откусил половину.

Младшая опять смутилась.

– По-моему, в этом букете присутствовала трава, от которой через несколько часов умирают в страшных судорогах...

Ч...р...т...вол, – выплюнул он цветы и прополоскал рот водкой.

– Господин юнкер, думаю, уже несколько дней, как молочко перестал употреблять?! – выразить мысль до конца она не успела, а ловко увернулась от Максима и кинулась бежать.

Разозлившийся от насмешек юнкер решил просто оттаскать ее за косу.

Несмотря на высокий рост и полноту, бежала она удивительно легко и грациозно.

– Сейчас я выпью твое молоко, – задыхаясь, грозился он.

– Прежде догоните, – ровным голосом, обернувшись, прокричала девчонка. – А во-вторых, у меня пока нет молока...

– Ежели догоню, то появится! – уже прохрипел Рубанов, сминая сапогами лютики и ромашки.

Ее сарафан мелькал среди зелени и белых березовых стволов, иногда сливаясь с ними.

«Пожалуй, не догоню!» – расстроился задыхающийся от бега юнкер, с яростью слыша удаляющийся девичий смех.

Вот она по самые плечи провалилась в лощину, и Максим видел только ее голову. Через минуту он сам спустился по пологому, поросшему травой склону в неглубокий овражек и зашуршал сухими скрюченными прошлогодними листьями, сбивая коленями широкие и сочные пласты лопухов.

Она уже вылетела наверх и оглянулась.

«Ежели б на саблях, я бы, может, и осилил, но в беге...» – решил он уже сдаться, но тут увидел, что коса ее захлестнулась вокруг тонкой березки. Болезненно дернув головой, она попыталась освободиться, но время ушло, и юнкер свалил ее в высокую зеленую траву, краснеющую земляничкой. Он лежал на ней и никак не мог отдышаться. Слезы выступили на глазах у побежденной.

– А матушка-то далеко!.. – впился в ее губы Максим, но поцеловать как следует не смог – не хватило дыхания.

Она попыталась вырваться, но Рубанов крепко обхватил ее руками и ногами, ощутив под собой трепет женского тела. Совсем рядом он увидел испуганные темные глаза и припухшие губы. Дыхание ее было чистым и приятным. Не спеша он сорвал губами красную ягоду и раздавил ее языком. Во рту стало свежо от терпкого вкуса.

– Пустите! – снова попыталась она вырваться.

Ничего не ответив, он лизнул ее в верхнюю губу кислым от ягоды языком, затем, не торопясь, нежно укусил нижнюю сочную губку и поцеловал в уголок рта. Неожиданно она

прекратила сопротивляться и обмякла. Разумянившееся девичье лицо спряталось у него на груди.

Максим задохнулся от счастья. Его душа растворилась в этой девушке, в этом лесу, в этой траве с красными ягодами...

Обратно они шли медленно.

– Будешь знать, как дразниться! – по-детски буркнул Максим, подходя к пасшимся лошадям и сидевшим на попоне Нарышкину с дамой.

– Теперь, мой мальчик, я тебя совсем задразню... – счастливо улыбнулась она, – и когда ты успел так научиться любить?! – польстила его тщеславию.

«Не важно, когда и где; важно, что кто-то тебя успел полюбить раньше...» – ревниво подумал он.

– Упали? – глядя на зеленые колени, поинтересовалась сестра.

– Ягоду собирали... – ответила младшая.

– А ты собирала лежа?! – съехидничала старшая.

– Ну что за языки у вас? – прервал их диалог Максим. – Скоро на клавикордах ими играть научитесь! – налил в стакан водки.

– Ребенки еще, а водку как хлещут! – отвернулась от него старшая.

В бешенстве пошел запрягать Гришку.

«Лосины следует поменять», – решил он.

Младшая навязалась ехать с ним под предлогом перемены одежды. До окраины Стрельны она сидела сзади, крепко прижавшись грудью к его спине, дальше пошла пешком.

Дверь открыла Марфа и тут же протянула письмо. Большими печатными каракулями писал Кешка. Максиму даже показалось, что он видит, как его друг, высунув кончик языка, старательно выводит буквы.

После прочтения у него испортилось настроение. Оказывается, Данила взял в доме полную власть. И не только в доме, но и в деревне: «Барыня во всем его слушает. Агафон добрался из Петербурга недавно и теперь частенько запрягает лошадей задом-наперед, доказывая при этом, что тройка запряжена верно... Но его держат, пока Даниле нравится пороть конюха».

«Надо скорее ответ написать, – подумал Максим, надевая серые суконные рейтузы. – В них поудобнее, чем в лосинах, и практичнее на природе...»

Вечером младшая сестра потащила многострадального юнкера в лес.

– Там весело будет на Ивана Купалу. Всякая нечисть в эту ночь силу получает. Марфа, вон, крапиву на подоконнике кладет от чертей, – перекрестилась она. – А мы с сестрой по травам гадать станем, – и на вопросительный взгляд юнкера разъяснила: – Чтобы приснился суженый, надо положить под подушку двенадцать трав... в них обязательно должны быть чертополох и папоротник, который вы у меня съели, – засмеялась она, обняв и чмокнув его в щеку.

– Ну а дальше-то что? – недовольно вырвался Рубанов.

– Ах да! – отпустила его. – Надо сказать: «Суженый-ряженный, приходи в мой сад гулять!...»

«Надеюсь, меня в своем огороде не увидишь!» – с досадой подумал Максим.

– ...Но раз трав не хватает, придется обойтись одним подорожником... – объясняла она, – со словами: «Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и старого, скажи моего суженого», положу перед сном под подушку, и кто приснится...

– Тот и станет всю жизнь с тобой мучиться!.. – завершил ее мысль Рубанов. – Смотри, народу сколько собралось! – вышли они к реке в том месте, где бабы полоскали белье.

На берегу он увидел Шалфеева, важно гуляющего под ручку с барышней-крестьянкой и задумчивого вахмистра. Здесь же столкнулся с Оболенским и Нарышкиным. Граф был абсолютно пьян и жевал луковицу. Старшая из купеческих дочерей поддерживала его.

– Как хорошо всегда пахнет от сиятельств! – завидовали конногвардейцы.

– На то они и шиятельштва! – шепеляво от недостатка зубов отвечал неразумным Тимохин.

Местные парни сегодня глядели на кавалеристов недоброжелательно: «Всех баб отобьют!» – нервничали они, разжигая костер и наливая в себя брагу. Девушки в нарядных сарафанах опоясывались плетеной из цветов и трав перевязью и надевали на голову венки.

Младшая наконец оставила Рубанова в покое и убежала к подругам.

– Выпить с устатка не осталось? – спросил он у Оболенского.

Тот покачал головой, внимательно разглядывая женщин.

– Вон та неплохая! – посоветовал Максим, указывая на стройную высокую мешчаночку с венком из ромашек на русой головке.

– Молода больно и тонка, – буркнул князь. – Нет, мне надо женщину постарше, а не этих детей, – пренебрежительно указал на водивших хоровод юных девушек.

Старшая из купеческих дочерей оторвала графа от березки и со смехом затащила в круг, где он еще пытался подпевать, крепко вцепившись в руки соседей, дабы не упасть.

Костер с горящим колесом на шесте в самой середине, беспощадно дымил в сторону хоровода, и круг распался. Парни и девушки бросились к реке, по дороге освобождаясь от одежд. Среди парней было много конногвардейцев.

Рубанов смотрел на происходящее, как сытый кот, а Оболенский, расстроившись, развернулся и побрел домой в Стрельну, не заметив, что некоторые из женщин, видевшие его в день приезда, тоскливо вздохнули после его ухода...

Князю хотелось есть, и он, громко топая ботфортами, шел мимо заборов, деревянных и каменных строений к купеческому дому. Вдруг откуда-то выбежала курица и, раскудахтавшись, заметалась под ногами, затем, выбрав направление, стала улепетывать, часто перебирая лапками и помогая себе крыльями. Посчитав свою особу в безопасности, отвлеклась на какой-то камешек. Поддевая его клювом, старательно выковыривала из земли, совсем упустив из виду огромные, приближающиеся к ней сапоги. Размахнувшись, юнкер злобно пнул путавшуюся под ногами птицу. Отправившись в свой последний в жизни полет, она громко треснулась о забор и упала на зеленую пыльную травку. Глаза ее затуманивались пеленой.

«О чем интересно подумало это одинокое создание в последний момент? – склонившись над бранным телом, начал философствовать князь. – О петухе или камушке, который так и не успела сожрать? Да пустое...» – и со словами:

– Девочкам нельзя так поздно гулять! – поднял ее и, свернув шею, зашагал дальше.

Добычу не выбросил, а взял с собой: «Заставлю эту лярву приготовить жаркое! – заскрипел зубами, вспомнив о жирной купчихе. – Видел бы меня мой папà! – через секунду рассмеялся юнкер, помахивая тушкой, которую держал за лапы. – Князь, имеющий тысячи крепостных, спер у бедного мешчанина курицу...»

Эта мысль привела его в неопикуемый восторг, и он громко, на всю улицу, захохотал, шлепая птицей по правому сапогу в такт шагам и приводя в бешенство окрестных собак.

Вышедшая прогуляться компания писарей или приказчиков, крестясь, тут же заскочила обратно в дом.

Буйство князей Оболенских бродило в нем, ища выхода, когда с маху, как и по курице, саданул ногой в дверь купеческого дома. Дверь затрещала, но выдержала натиск.

Через дорогу из раскрытого на втором этаже окна соседнего дома высунулась голова в колпаке, и старческий мужской голос, растягивая слова, предложил:

– А кого тут из горшка облить?..

Юнкер замахнулся курицей, и старикан ловко скрылся, чем-то загремев по пути.

«Наверное, свой горшок опрокинул! – с удовлетворением отметил князь, услышав топот и звон катавшейся с ускорением по все сужающемуся кругу крышки, которая громко затарахтела, бултыхаясь с боку на бок, и в одну секунду затихла. – Наверное, догнал и ногой придавил», – с удовольствием двинул еще раз по двери и прислушался...

Через минуту стариковскую ругань перекрыл шум шагов, решительно продвигавшихся в его сторону.

– Сейчас квартального кликну! – рывком отворила дверь купчиха.

– Будочников непременно следует звать! – поддержал ее опять высунувшийся из окна колпак. Причем шамкающий голос букву «д» не выговорил, и у него получилось «булошников».

У князя просто забурчало в животе, когда он, глядя на колокола грудей, представил мягкие и пышные булки. Втолкнув купчиху, он шагнул следом. Ее платок сполз, открыв белые плечи и глубокий вырез на груди.

Удивившись такому бесстрашию, она пошла на кухню раздуть свечу: «Пьяный, поди... – подумала по пути. – Ну, сейчас я ему задам!..» – размечталась она.

Оболенский двинулся следом, вытянув руку с курицей и собираясь просить приготовить птицу. Мощные ягодицы купчихи гоняли ткань ночной сорочки, постепенно все выше и выше поднимая подол.

«Круп кобыльему не уступит!» – ел глазами открывшиеся ноги юнкера.

Женщина будто затылком почувствовала взгляд и одернула сорочку: «Ведьма! – разозлился он. – Ладно есть не дает, но тут-то чего жалеет?» Купчиха склонилась над кухонным столом из потемневших досок, старательно выскобленными ножом, и стала шарить рукой в поисках свечи. Небольшой подсвечник оказался на другом конце, и она не стала обходить стол, а вытянулась на досках, пытаясь дотянуться до него, на минуту совершенно забыв про молодого голодного гвардейца. Рубаха, натянувшись, плотно облепила тело. Пышный зад, подрагивая, манил юнкера. Он шагнул вперед, бросив курицу на стол...

Женщина наконец дотянулась до подсвечника и собиралась уже распрямиться, когда ощутила, как рубаха задралась до спины и крепкая рука прижала ее к столу. Затем она почувствовала сапог у левой своей ступни, и в тот же момент ее правая нога стала перемещаться в сторону, толкаемая другим сапогом: «Явно пьян и голоден... – испугалась она, но тут же от удовольствия закрыла глаза и расслабилась. – Каков подлец! – повела крупными ягодицами. – Вырваться, что ли? Да что я, дура какая?!» – разыграла она слабую женщину, задрожав от удовольствия, когда сильная ладонь больно сжала ее грудь.

– Будешь жарить?! – услышала над собой голос, но ничего не ответила, с блаженством отдавая себя в крепкие руки.

– Будешь жарить?! – грубо произнес юнкер, глядя ее вздрагивающие бедра.

Ответом был лишь слабый стон.

– Будешь жарить?! – задавал он все тот же вопрос.

– Буду! – ответила купчиха, взбрыкивая ягодицами.

Стол скрипел под ними.

– Будешь жарить?!

– Буду, буду!

– Будешь жарить?! – перешел он на крик.

– О-о-о-й! да, буду! ой, буду!

– Будешь жарить?! – шепотом спросил и услышал судорожный вопль.

– О-о-о-й! Б-у-д-у-у!

В этот момент стол не выдержал нагрузки и рухнул.

«Вот это женщина!» – натягивая лосины, подумал Оболенский.

Двое других юнкеров, вместе с сестрами, заявили лишь под утро, но купчиха этого не заметила. В ней произошел взрыв энергии – чуть не вприпрыжку бегая из погреба на кухню, она таскала различные припасы, чтобы накормить обожаемого князюшку, а заодно и его товарищей. Бедная Марфа была срочно командирована раздуть самовар.

Не спавший всю ночь Нарышкин лишь только коснулся дивана, тут же захрапел.

Максим посвистел, но храп не прекращался. Махнув на друга рукой, он принялся исследовать прожженные на задку рейтузы, скорбно при этом качая головой: «Леший меня дернул через костер сигать – либо вахмистр, либо Вебер – но своей смертью явно не помру! Лосины надо срочно стирать, – решил он, с недоумением поглядывая в раскрытое окно на хлопочущую служанку, которая, стоя на коленях, никак не могла разжечь сырые щепки, чадно дымившие, но не желавшие разгораться. – Гостей, что ли, ждут? – вдыхал острый запах дыма, проплывающего мимо открытого окна и смешивающегося с дыханием травы и цветов, превращаясь при этом в какой-то новый, вкусный аромат, внезапно вызвавший волчий аппетит. – Господи! – подумал он, брезгливо морщась. – Опять лук с водкой жрать...»

Но в этот момент в дверь постучали, и заглянувшая подружка произнесла:

– Матушка просит пожаловать на завтрак!

В животе предательски забурчало.

– Это не шутка, а издевательство... – тяжело глянул на нее, – лучше лосины постирай.

– Как хочешь! – фыркнула она, и дверь захлопнулась.

«Старики говорят, на Ивана Купалу удивительные вещи происходят... – стал рассуждать Рубанов. – И чем черт не шутит?.. Пойду! – окончательно решил он. – Только вот в чем? Возьму у Нарышкина».

Завтрак подали в зале. Раскочегарившая все-таки самовар Марфа сменила хозяйку и с удивлением раскладывала на круглом столе припасы, крестясь исподтишка на киот с образами и размышляя: дойдет ли до Бога молитва, ежели под образами кровать?!

Умиротворенная хозяйка сидела на глубоко продавленном диване и ожидала, когда по наклону к ней съедет любимый. Но он не хотел снова в объятия, а хотел есть и поэтому крепко упирался ногами в пол, а руками в стол. Увидев такую картину, Максим перекрестился в сторону кровати и сел в придвинутое к столу кресло, с удивлением пытаясь поймать взгляд Оболенского.

– Мон шер! – обратился тот к Рубанову, закидывая ногу на ногу. – А где граф Нарышкин?

– Спит с похмелья! – растерянно ответил Максим, по-крестьянски поскоблив пальцами в затылке и ожидая воплей хозяйки.

Но та лишь улыбнулась и велела прислуге подавать...

Марфа внесла ЖАРЕНУЮ КУРИЦУ!!!

– Приснился ли тебе суженый? – с трепетом поинтересовался после завтрака Максим, отдавая подружке постирать лосины.

– Не-а! – вздохнула та.

«Слава Богу! – облегченно заулыбался юнкер. – Всему поверишь, видя такие чудеса...»

Следующее утро выдалось хмурым и пасмурным. Шел мелкий противный дождь, монотонно простукивающий крышу. Отдаленный гром утробно бурчал, словно у голодного юнкера в желудке. Осипший трубач похмельно играл «утреннюю зарю». Зевая, Максим выглянул в окно и с интересом понаблюдал за сестрами. Те, подоткнув подола юбок, со смехом расставляли какие-то чугунки и ведра под тоненькие струйки с желобов по углам дома. Весь вид испортила Марфа, вышедшая во двор в высоко подхваченном сарафане. Ее синеватые от холода тощие жилистые ноги навевали мысли о дохлом цыпленке.

Плюнув в окно и проследив за комочком слюны до самой земли, Максим растолкал Нарышкина.

Лосины еще не просохли, и Рубанов с трудом натянул их на ноги, рассудив, что под дождем всё равно намокнут. При бдительном осмотре все же можно было различить расплывшиеся по коленям слабо-зеленые пятна: «Стирать бы лучше училась, чем на клавикордах играть!» – опять выглянул в оконце.

Девки уже убежали, а тощая задница прислуги одиноко маячила на огороде, отпугивая ворон. Гремя сапогами, в комнату ввалился Оболенский и тут же заорал:

– Подъем, юнкера!

К удивлению Рубанова и раскрывшего глаза Нарышкина, за ним следовала купчиха и почтительно поправляла воротник колета.

– Кушать подано, господа! – ласково пропела она и вышла, догадавшись, что смущает надумавшего вставать графа.

Оболенский самодовольно щелкнул каблуками, повернувшись кругом, и добавил от себя отнюдь не по-французски:

– Лопать теперь будем до отвала, юнкера.

Выездку отменили, и молодые конногвардейцы решили наконец заняться уставами.

Перед самым обедом примчался запыхавшийся Шалфеев и, широко раздувая от волнения ноздри, сообщил о прибытии в Стрельну полицейского офицера из Петербурга.

– Ой, не к добру! – перекрестившись, умчался он на конюшню и оказался прав.

Через час юнкера и их дядьки были вызваны к Веберу. В комнате у него находился полицейский поручик и один из крепколобых будочников, который, увидев Оболенского, обрадовался ему словно родному. «Видать, сильно его саданул, – пожалел мужичка князь, – все время теперь улыбаться будет».

– Оне! Оне! – чуть не запрыгал от радости будочник, улыбаясь во весь рот, и стал метаться от одного поручика к другому. – Оне, ваши благородия, стучали по моему лбу чужой головой и богохульничали при этом, – счастье ключом било из будочника.

– Словно сына родного встретил, – шепнул Оболенскому Максим.

– Говорить будете, когда прикажу! – взвился Вебер. – С кавалергардами драться вздумали? Да у меня там дядя служит... Ответите, господа юнкера, за все ответите!

– ...И богохульничал при этом, – осенял себя крестным знаменем будочник, теребя за рукав полицейского офицера и радостно улыбаясь.

Дядьки, вытянувшись во фрунт, стояли затаив дыхание.

«Как бы по носу не врезал! – волновался Шалфеев. – Ишь, немчура, кулаками как развертелся...» – преданно при этом ел глазами начальство.

Полицейский, разглядывая прохиндейскую рожу Антипа, прокручивал в уме описания разыскиваемых душегубов: «Вот черт! Под все подходит!..» – волновался он.

Егор, мечтательно глядя на диван, боролся со сном: «Эва, диво какое, с писаришками кавалергардскими поцапались...»

– Да ладно, с кавалергардами, – вставил слово приезжий офицер, будто прочел его мысли, – но будочниками-то зачем друг о друга стучать?! А еще из хороших фамилий... – с упреком посмотрел на юнкеров.

– Мою фамилию тоже весь квартал уважает, – начал хвалиться будочник, – мы, Чипиги, давно по будкам сидим: мой папаня сидел, и дядька сидел, теперь я вот хорошо сижу...

Даже Вебер замолчал.

– Ну что ж, – поднялся полицейский, – пора домой возвращаться. Надеюсь, о принятых мерах сообщите куда следует? До самого Аракчеева сие безобразие дошло...

– В Сибирь захотели! – орал Вебер. – С этого года не Вязьмитинов министр, а Алексей Андреевич Аракчеев. Забыли?!

Ну что ж, до особого распоряжения его превосходительства полковника Арсеньева посидите на гауптвахте, а там как Михайло Андреевич велит...

На юнкерское счастье, заместитель командира лейб-гвардии Конного полка приехал в Стрельну не один, а с Петром Голицыным. Князь решил навестить своего протеже и воспитанника.

– Молодцы! Ей-богу молодцы гвардейцы, – похвалил Голицын юнкеров, – за честь полка вступились. А кавалергарды зазнались, ежели даже их писаришки в князей огурцами кидают...

Михаил Андреевич хмурился и теребил себя за бакенбарду. Юнкера встали во фронт и с удовольствием слушали гусарского ротмистра.

«А ведь и правда, – раздумывал полковник, – куда это годится, коли рядовые писаря на юнкеров кидаться начнут? На этих совсем еще детей... а вдруг бы повредили им чего?.. Хотя бы тому же Нарышкину... – быстро взглянул на красивое, по-девичьи нежное лицо графа. – Да московская и петербургская родня такой бы шум подняли!.. К тому же государь не равнодушен к его родственнице...»

– А квартальные с будочниками чего учудили?.. Вместо того, чтобы два десятка кавалергардов приструнить, на бедных несчастных мальчишек накинудись... – обращаясь к полковнику, незаметно подмигнул Рубанову ротмистр.

– У них с головой всегда безнадежно... – высказался полковник, наконец оставив в покое бакенбард.

– Не скажите, Михайло Андреевич, как раз тут-то они правильно смекнули, – развивал мысль Голицын. – Кого легче схватить и доложить по начальству о бдительности?.. Два десятка здоровенных мужиков или трех нежных отроков?

– Конногвардейцев так просто не возьмешь! – гордо выпятил грудь полковник. – Доложу великому князю Константину, что любой квартальный норовит его гвардейца обидеть да еще в холодную упечь!.. Вебер!!! – обернувшись к двери, рывкнул он.

Поручик предстал, словно чертик из табакерки.

– Ну, эти дубоголовые к юнкерам цепляются... ладно! А вы-то чего? За что детей на гауптвахту посадили, а? За то, что они честь полка сберегли?! Советую у них поучиться, как следует за честь конногвардейского мундира стоять!

Серые глаза Голицына лучились лукавством...

Вахмистр, по приказу Вебера, дал юнкерам кавалерийский штуцер и велел дядькам научить молодежь палить из него.

– Оружие почти свеженькое, образца 1803 года, с закрытыми глазами должны в цель попадать, – изрек он.

Стрельба из этого штуцера стала самым любимым развлечением юнкеров. Кроме стрельбы, они сражались на шпагах. Максим показал коронный отцовский удар, и юнкера с увлечением отрабатывали его. Особенно старательно занимался Нарышкин. В наряды и дежурства Вебер после приезда полковника и Голицына их не ставил, но зато еженедельно, каждую пятницу проверял знания уставов и отводил свою немецкую душу на бедном Оболенском, голова которого не воспринимала злосчастные параграфы и пункты.

– Все понимаю!.. – жаловался он друзьям. – А словами мысль не выражу, у меня и с французским такая же история случилась – измучил несчастного месье. Правда, по-нашему он мекал, как я по-ихнему, но у него хоть отговорка была – варварский язык, мол.

– И чем дело кончилось, выучил? – спросил Нарышкин по-французски.

– Ои! Ои!¹² – выбросил французика в окно...

– И что папà? – заинтересованно допытывался граф.

¹² Да. (фр.).

– Стекло очень жалел... Венецианское! А мамà за клумбу переживала... Ее любимую розу французская задница смяла. Отправили гувернера в Париж, правда, заплатили щедро, и нежные ручки молоденькой прислуги до вечера выковыривали из, пардон, французской задницы, колючки.

– Да ладно! – сказал Нарышкин.

Князь заулыбался от приятных воспоминаний.

– Видели бы вы, господа, как он летел... ах, как славно летел французишка, – все не мог он успокоиться. – И почему мы при Аустерлице проиграли? – неожиданно перевел разговор на военную тему.

– Видимо, потому что вы, господин юнкер, в боях не участвовали, – съязвил Нарышкин.

– Молодец! – похвалил его Максим. – Становитесь суровым и задиристым, как истинный конногвардеец.

– Вот как вызову на дуэль! – обиделся Оболенский. – Обоих...

– ...И вам не придется войны с Наполеоном бояться! – облек словами его мысль Максим. – Ухлопаю!

– Гы-гы-гы! – зашелся смехом князь.

По вечерам, когда спадала жара и в открытые окна вливался свежий душистый воздух, купчиха устраивала танцы, на которые посторонних, разумеется, не приглашала.

Живущий через дорогу дедушка, разбуженный среди ночи игрой на клавикордах, смехом и топотом, от возмущения долго не мог попасть струей в горшок: «Заставить бы вас подтирать за мной! – мечтал он, сощурив один глаз для точности прицела. – Тогда бы, поди, спали по ночам...»

Как Оболенскому с трудом давался устав, Нарышкину – стрельба и фехтование, таким камнем преткновения для Рубанова являлись танцы. Но он старательно учился, несмотря на страдальческие лица приглашаемых им сестер. Через несколько вечеров они наотрез отказались танцевать с ним.

– У нас уже ноги распухли, – жаловались дамы.

И лишь их мать, мужественная женщина, продолжала давать уроки мастерства. Но в долгу она не оставалась, и на следующий день, вставляя ногу в стремя, Максим морщился от боли в ступне.

Огромный Оболенский, не говоря уж о Нарышкине, танцевал легко и свободно и вальс, и мазурку, но любимым танцем, приводящим в восторг необузданную его душу, был, конечно, котильон... в стиле а-ля Оболенский! Так князь называл популярную в Европе фарандолу. Левою лапицей он тащил за собой купчиху, она – Максима, тот – одну из дочерей, замыкал шествие Нарышкин. Князь заставлял их скакать через табурет, прыгать по дивану, водил из комнаты в комнату, стуча ботфортами и дико при этом вопя, часто в ажиотаже хватал штуцер, выводил команду во двор, и апофеозом всему был громкий выстрел, от которого соседский дедушка упускал в перину... Марфа в такие вечера уходила ночевать к родственникам, то есть дома практически не бывала...

Поручика Вебера потрясли не творившиеся беспорядки, а то, что юнкера сумели приручить эту взрывоопасную купчиху с ее дочками. «Даже свою скобяную лавку забросила, – недоумевал Вебер, – все дома, сидит... Как говорят русские: медом ей чего-то там помазали, что ли?..» Но принимать решительные меры он теперь опасался.

В конце июля полк начал готовиться к походу в Красное Село, где после недельной подготовки предстояло провести перед царем двусторонний маневр. За день до марша в Стрельну прибыл отдохнувший и посвежевший ротмистр Вайцман. Отпуск у него еще не закончился, но

принять участие в сборе всей гвардии он посчитал своей обязанностью – а вдруг его заметит и отличит сам государь-император?!

С новыми силами и отдохнувшей глоткой Вайцман рьяно взялся за наведение порядка и дисциплины. Рядовые конногвардейцы чистили мелом кресты и медали, у кого они имелись; доводили до жаркого блеска пуговицы колетов, ваксили сапоги, полировали шомполом шпоры, чтобы стали точно серебряные, брились и фабрили усы и бакенбарды.

Купчиха ревела белугой, размазывая по лицу обильные слезы и вздрагивая всем своим необъятным телом. Не уступали ей и дочери, без конца обнимавшие юнкеров и мешавшие им паковать вещи.

Громкие рыдания звучали сладкой музыкой в волосатых ушах соседского дедушки. Чтобы лучше слышать и наслаждаться каждым всхлипом, он сдернул с лысой головы колпак и, держа на коленях пустой горшок, временами выбивал по его днищу победный марш Преображенского полка...

В последний вечер перед походом купчиха устроила прощальный ужин. В центре обильного стола на круглом фарфоровом блюде с целующимися голубками красовалась огромная ЖАРЕНАЯ КУРИЦА...

В лагере под Красным Селом командиры расписывали по минутам «внезапные» атаки и перестрелки, время обязательного ночного стояния в полной форме в «главных силах» возле оседланных лошадей, наступление на «противника» сомкнутыми колонами и отступление под прикрытием фланкеров. Затем наступал самый щекотливый момент – раздел полков на царские и супротивные, что всегда вызывало большой шум к споры, так как супротивной стороной быть никто не желал. Генералы орали друг на друга и бросали вверх пятак, загадав на орла или решку... Их полки в это время скакали сомкнутым строем, отрабатывая уставную посадку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.